

10.335  
1972



Литературная

10335  
70  
СРЧЗКЯ

10

1972

# Литературная

# ГРУЗИЯ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

В  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

10

ОРГАН  
СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
ГРУЗИИ

ОКТАБРЬ

1972

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ



94.923



საქართველოს ლიტერატურულ-მხატვრული  
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

წელიწადი მე-16

№ 10 ოქტომბერი, 1972 წ.

საქართველოს საზოგადოებრივი კავშირის ორგანო

Главный редактор

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

Редакционная

коллегия:

Григол АБАШИДZE,

Тенгиз ВУАЧИДZE,

Марк ЗЛАТКИН,

Лавросий КАЛАНДАДZE,

Натела КАРАШВИЛИ

(ответственный секретарь),

Серго КЛДИАШВИЛИ,

Георгий МАЗУРИН

(заместитель главного редактора),

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,

Владимир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,

Георгий ХУЦИШВИЛИ,

Эммануил ФЕИГИН,

Алеко ШЕНГЕЛИА.

Год издания шестидесятый

*Рукописи объемом  
менее авторского листа  
не возвращаются.*

Адрес редакции: Тбилиси, 8. Улица Ленина, 5. Телефоны: гл. редактор — 93-65-15,  
зам. гл. редактора — 93-13-57, ответ. секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59,  
отдел прозы и очерка — 93-31-43, отдел поэзии и искусства — 93-31-43, отдел кри-  
тики и публицистики — 93-65-19.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ

- ОТАР ЧЕЛИДЗЕ.** Амирап-гора. Поэма. Перевод  
Льва Халифа 5
- ЛИА ЧАВЧАВАДЗЕ.** Путник добрый, куда ты  
идешь?!. Какая тихая ночь!.. Желтый снег все  
деревья осыпал... Сказ бертсолара. Тот день,  
когда мы встретились на улице... Перевод  
Валерия Краснопольского 8
- МИРИАН МИРНЕЛИ.** Родился человек. Мне лес  
мигал зелеными глазами... Раскричался ве-  
тер, будто... Зимняя картинка. Перевод  
Льва Пеньковского 9

### ПРОЗА

- ЭДИШЕР КИПИАНИ.** Красные облака. Роман.  
Окончание. Перевод Элизбара Ананиа-  
швили 10
- РОСТОМ БЕЖАНИШВИЛИ.** Последний перегон.  
Повесть. Перевод Камиллы Коринтэли 20
- МИХАИЛ ЛОХВИЦКИЙ.** Вся жизнь... Повесть.  
Окончание 27
- ИОЗЕФ СЕКЕРА.** Чешская рапсодия. Повесть. Пе-  
ревод с чешского Николая Сорокина 43

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- АИДА БЕСТАВАШВИЛИ.** «Золотые холмы» 51
- ЗОЯ ТУХАРЕЛИ.** Еще раз о стиле 54

### К 50-ЛЕТИЮ СССР

- Э. КАВКАСИДЗЕ.** Ленинские принципы партийной  
пропаганды и телевидение 58

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
НИКО ЛОРДКИПАНИДЗЕ

БЕСО ЖГЕНТИ. Выдающийся писатель-гуманист . . . 64

ИСКУССТВО

ТАМАР ВАХВАШИШВИЛИ. Одиннадцать лет с  
Котэ Марджанишвили. Продолжение . . . 73

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

ГЕОРГИИ МАЧАВАРИАНИ. О взаимоотношениях  
Н. А. Добролюбова и Д. К. Кипиани . . . 77

ЛЕО МЕНАБДЕ. Братские узы дружбы . . . 84

ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ

ТЕЙМУРАЗ НАТАДЗЕ. Листая знакомые страницы . . . 89

ВАРВАРА МЧЕДЛИДЗЕ. Мой Кутаиси . . . 91

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛО-  
ШИН . . . 93

# АМИРАН-ГОРА

ПОЭМА

## І ГЛАВА

Мысль о том, что с зарею — в путь,  
Пульс подгоняет,

        будто рыбу невод.

Я оставлю наемный рай  
        с виноградином — и пусть,

Пусть бросит меня в город небо.

И в раковинках, что стали похожи

На наустрившиеся уши,

Я увезу с собой морского ветра дух,

Чтоб дома море слушать,  
        хоть будет гудеть оно и глуше.

Чтобы мне вспоминать всегда

Мыл любимый,

        мысл вечнозеленый,

Чью трепетность перенести сюда

Могу лишь акварелью —

        как вода, незамутненной.

Пока зреет отъезда желанного час, —

Что поделаешь! — хочется очень

Побыстрее себе лодку и отчалить до ночи.

Одинокого родича навестить хочу,

Чтобы мне он раскрыл свою душу,

Неудачник,

        каторжанин,

        старый верчун,

И тогда оглянуться, ей-богу, не струшу.

Если из исповеди

        не извлеку

Ни мучений его,

        ни борений,

        ни правд,

Что же мне отрицать на моем веку,

Что понять

        и что повергнуть в прах?

Невиновен я перед ним и чист,

В заколдованном времени том родясь.

Кто, как ныне,

        понятлив и так речист,

Попытайтесь-ка снова туда попасть?!

Очень трудно было,

        да и сейчас,

Одиссеи обширной закончить главу,

Если головешка забвенья,

Даже испепелая,

Все еще сыплет искры,

Если прошлое я зову...

Амиран-гора зовет меня высью седой, мерцающей синим светом из далекой дали, на которой восставший год девятьсот второй кроваво-красное знамя пролил. Гроздья тучные воспоминаний ждут и почтенного старика, и, чтобы раскрутить их толстый жгут, я в лодке плыву, и лодка легка. Когда Черное море, под ветром хрипя, сжало в морщины покатые волны, захотелось мне вдруг стать моложе себя, дай попробую!.. И пальцы мои загудели до звона. Не могу сопрягать кровь и гордость стихий, как вернуть не могу я выжженные лысиной волосы, никому не вернуть (до самых смертей лихих!), никому никогда своей молодости. Опрокинулось море, встало стеной. Вот она, стена для одоления! Гребни волн потянулись за мной, тяжеленные весла будто с морем склеены. И солоное море противится мне: «Возвращайся назад, назад — сей же час!..». Вижу, сейнер навстречу — коробок на волне, накренился чуть косо, надо мною юзеясь. Вся одежда промокла, где море, где небо, — вода широка... Про меня рыбаки, верно, думают весело: «Посмотри-ка, рыбак, на нерыбака!». Есть на что посмотреть: на корабль мой двухвесельный. Чтоб от страха избавиться, чтобы выдавить страх, я псю при них — будто от радости, и при этом с самим собою вражда остра. — незнакомец во мне — без малейшей надобности. В море я будто век: я и берег забыл, меня кружит веревочка-ветер. И на плечи мои — будто вместо крыл — опустился луман, непоглядно светел. Солнце мертвых, закатное, катится за горизонтом, как перевозанная лава земли, или это судьбой освещается желт — красавицы дальней, неведомой — лик... Небо лик тот обмоет и покажет язык — красноватую выбросит молнию, прогремит, чтобы слышал посреди грозы: «Не уйдешь, не найдешь безмолвия!». В отдаленье от мира, что в солнце просоко, пролегает границы грустная тяжесть. Как оставить этот прекрасный мир! Жаль! Как жаль! Ведь живем не века! А вдаль поет сейнер, замолная на миг: «Посмотри-ка, рыбак, на нерыбака!». Облака лбами бьются вверху далеко и дурманят меня, а внизу жжется соль. И взлетает горой где-то пристань легко, и — как призрак — пристань, как сон.

Как охотник за дичью,

Страх крадется за мною

С плоской чашей огромной в руках,

И пьянеет пространство от радости злой,

И крадется за мною страх...

Когда дуло с Востока —

Я был на волоске,

Я — потомок солдата —

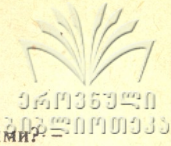
Схватился всерьез

С озверевшей природой.

Да не важно, с кем, —  
Мне в то время хотелось побольше гроз.  
И то, что опрокинулось на меня тогда, —  
Я до старости буду носить с собой,  
Как хурджин<sup>1</sup>, через все года.  
... Так чем же все-таки кончился бой?  
Мне удалось и выплыть и ступить  
На землю —

вынесла меня выносливость.  
Иль кровь Автандила<sup>2</sup> не спит, не спит  
И вливается в нас нервозная...

Стояла, в небо вулканом дымься,  
Гора Прометея — гора Амирани<sup>3</sup>.  
— Почему ты на лодке,  
Да еще сейчас,  
Кто же шутит в такую погоду с морями?  
На пристани тихой спросил старик  
Меня, спасшегося из водоворота.  
— Вы скоро поймете причину, —  
И в миг  
На губах сверкнуло  
Вроде молнии что-то.



## II ГЛАВА

«Раз удалось всем горестям назло тебе улыбнуться сквозь гнев, мой бедный марани<sup>4</sup> открыт без слов, ведь отведать вина — не грех! Появление твое продлит мои дни...» — И лицо его, тронутое судьбой, распускало морщинок нить и нас освещало собой. Меня к нему придвинула любовь, вокруг стола он хлопочет и кружит, он куда старательней, чем хозяйин любой, собирает на стол ужин. В полночь сели за стол. Слыша гул, я и мой хозяин молчим. Да-ем прежде выговорить очагу, и на это — немало причин... Трещал огонь, не отрывал от нас глаз, доисторический нас приветствовал старец, гостеприимец, вечный страж, бог очага — очаг да не оставил!.. Ободряла видом неслизкого дна чаша полная оджалеши<sup>5</sup>, и всякая рыба с тарелок нам словно приказывала: «Ешьте!». Когда небо беспричинный гнев ни с того ни с сего проявляло громом, старый рыбак вспоминал о тех, кто спасся в море, в страшном и бездонном. В заржавленной раме — пляска огня: неистовствует, не гаснет молния, будто ступить закликает меня еще раз в ее логово мокрое. Еще настоящей, чем море само, — мой старик приближал меня к существу. «Примеры предков для нас все равно как спасенье, в час испытанья идущее», — прокопченный Анагий так рассуждал, он, продыmlенный злобой времен. Сколько в детстве легенд я о нем узнал, сколько светлых легенд я услышал о нем! С колокольни, заброшенной давным-давно, гнал он звон, летящий к всевышнему... В дружбе с ближним жить нам дано, и тянулась душа моя к ближнему. Все, что величественно в этом мире, — все вместилося в шкафу его книжном. Книжки, книги — сердцу милые, в переплетах красных, и синих, и рыжих... Вот перед нами — Бараташвили, вот — откровения Библии... Данте отрезвляет своей ширью, сединай страницы выбелив... Сафо поет надо мной, опьяненная. По морю странствую с Одиссеем. Вот «Витязь в тигровой шкуре» влюбленный, вот монах Иоанн, бредущий на Север. Освещает меня свет Ренессанса. Бессмертный глядит на меня «Гильгамеш», эпикурейцы, сулом киящие сами. И еще «Илиада» и — опять Гомер... Рядом им выпало здесь очутиться... Кто вы — соперники или друзья? Древних и трудных эпох очевидцы, вам враждовать нельзя!.. Книжки, книги, шкафы забитые напоминают о неистовом беге времени, о самоотверженности предков завидной нам рассказали древние. Вот стоят без обложки тома, мятые, обожженные, пожуленные без света, но заслоняли они фолианты тогда — верные спутники неуживчивого нашего века. Был скуп на улыбки хозяин хмурый... Как развернувшаяся летопись сообщала о битвах, так на коже его бурой столетье бурное отпечаталось красноречивей свитков. Дороги, биографии, архивы... Слово звали нас, потомков, обелиски, и прозвучал его голос хрипло, как из прошлого — из неслизкого. «Пока воспоминания не устроились, послушай! Хочу тебе поведать тайну». Он вспомнил море, грызущее сушу, показал на него руками. И море громом прибрежным откликнулось мигом, и горы Амирана раздался раскат... И было жаль не включать в эту книгу каторжанина старого расказа.

## III ГЛАВА

Чему удивляться,  
Если я вспомню  
И размечаюсь о времени нном,  
неслизком,

Я к концу своей жизни  
Тебя знакомлю  
С конспиратором-гимназистом.  
Фотографируюсь у моря,

<sup>1</sup> Хурджин — крестьянский заплечный мешок.

<sup>2</sup> Герой поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

<sup>3</sup> Грузинский Прометей, похититель огня у богов.

<sup>4</sup> Марани — хранилище для вин.

<sup>5</sup> Оджалеши — западногрузинское вино.



Одет, как граф заправский,  
 В картон фотографа  
 Голову просовываю,  
 И море нарисовано,  
 И наряд мой графский,  
 Только я один не нарисован.  
 Это мой призрак.  
 Ничего не имею,  
 Кроме жажды огромной  
 Что-то свершить.  
 В зрачках моих черных запретное зреет,  
 С каждым часом взрослея, —  
 Желанье крушить.  
 Черная сотня,  
 Что век не просохнет  
 От крови людской — как знаком ее цвет!  
 Мне казалось,  
 Что стоит ударить  
 По черной бесцетной сотне,

И сразу же в мир наш  
 Хлынет рассвет.  
 Двоим лишь известной надежной тайной  
 Дурманит меня,  
 Будто сбывшийся сон.  
 От взгляда любимой  
 Я — кремень,  
 Я — кремень,  
 Но она ведь — не я,  
 Она — хрупкий висок.  
 Избрав меня — себе же страданий  
 прибавит,  
 Беды непосильной,  
 Скитаний,  
 Труда...  
 Избрала меня — и припала губами.  
 Со мною, как в омут, —  
 В судьбу навсегда.

Был друг у меня, не похожий на труса, мы выросли вместе, познали вдвоем вражды и дружбы опыт трудный, который нам жизнь не бесплатно дает. Но юность прошла, и я возвращаюсь из прошлого к сверхкрепко сколоченной жизни своей, я юным смотрю с фотокарточки плоской, как рождается буря на глади морей. Есть вера в победу, что придет непременно, и близость ее, ощущение ее... И нет приговоров еще для меня непомерных, нет каторг моих, нет сибирских краев и смерти вторичной собратьев. Еще не предали, шрифты искали, найти не смогли, братских могил еще не рассекали, еще не осквернили братских могил. Пока я на лодке и тоже в бурю — переправляют шрифты для призыва в бой... Для меня еще такая возможность будет — познакомиться на каторге с самим собой. Еще я не встретился с человеком, Сибири отдававшим, которого ищут ищейки повсюду, с человеком, чьей титанической верностью раздувалось восстание и росли наши судьбы. Я еще не встречался с ним, как брат с братом, не познакомился с ним в испытаньях крутых, как пуля им пущенная, еще не врезался расплатой в лбы врагов (хоть каменные лбы у них). И вот оправдалось — не почудилось, пуская за предчувствие тот миг сочту. — холмы отчего края всем сердцем почувствовав, рванулся осуществлять мечту... я приехал сначала в родную деревню, бесприютно заброшенную в горах, и раскрылось пространство — милая древность (давно бы прийти мне сюда пора!). Приласкал роднички, походил по несжатому полю, вся земля в красноватых кустах, как в крови, и застонали мысли мои от боли, будто люди, безважные со своей землей. Соболезнует ветер, шевелит волосами чуть слышно, глина типнет к подошвам. Или я незнакомый гость?! Прикипают глаза мои к деревенским афишам на плетнях покосившихся, намокающих в дождь. Сельских будней картины, как написаны тушью, отпечатались в сердце моем навеки. Виноградник вдаль беретит мне душу, и я вижу вдруг — вот он, тот человек. В отчем крае моем чудом мне повстречался. Сибиряк поневоле — оброс бородой. Видно, встречи с невестой не часты, говорил он ей что-то, и качала она головой. Улыбнулся, пошел мне навстречу, растерялся я... «Неприменно приходите на представление вечером, увидите спектакль про Арсена!» — говорил он со мной, как со старым другом, меня беседа с ним ободрила, говорил он весело, как шел за плугом, и крылатое что-то в словах его было. Буревестник, друг пролетариев пружинских, вот преданность моя — возьми! Он был уже героем, я ж — гимназистом, стоящим посреди родной земли. Я помощь предлагал свою несмело... «Спасибо! — улыбаясь, он сказал, — я и режиссер, мы справимся умело, балкон нам — сцена, сад нам будет зал. — И весело он обнял Катерину, — Ну чем не партер эта трава, деревья длинные облепит чинно кудлатая, шальная детвора. Скворечники на ветках, как игрушки на новогодней елке среди зимы, и будет малышня нас слушать, как слушали на их бы месте мы...».

Но подозренье у меня возникло быстро, вдруг вырвалось — а вдруг на самом деле и мне на дерево, как гимназисту?.. Но, улыбаясь, он сказал:  
 «— Зачем на дерево?! Мы посадим тебя, как взрослого, в самом первом ряду, в партере. поглядите на меня не просто — в роли мстителя Марабдели!».

<sup>1</sup> Арсен Марабдели — грузинский народный герой, вождь крестьянского восстания первой половины XIX века.



Недостойного я не сделаю дела,  
Изобью купцов,  
Дворцы сожгу,  
Князей раздену и крестьянам  
Дам одежду,  
Исполню все, что скажу!  
Арсен беру я у богатых,

Арсен — и бедным я даю!  
И богу гневаться не надо  
На разгневанность мою!  
Я украду свою невесту,  
И не отнимет ее никто...» —  
И оттого, что он шутил, наверно,  
Я понял — нет, гимназия — не то...



Как мне коснеть в гимназии, покуда удел крестьянства тяжок и жесток!.. Нет, я такое делать буду, чтоб поскорей пришел возмездья срок... «Мы до вечера расстаеться, до Арсена». Так оставите ложу мне? «Ну, конечно же, непременно, вот на этой стороне. Оценить самоотверженность нашу нужно, во-время явясь, когда представленья закончим бесстрашно. — наш свадебный стол будет в самый раз».

Перевод Льва ХАЛИФА

Продолжение следует

## Лиа ЧАВЧАВАДЗЕ

\* \* \*

Путник добрый, куда ты идешь?!  
Неприметную тропку ищи...  
Там апрельский розовый дождь  
Разбросал цветные ручьи...

Слышишь эхо?! Тө песня моя  
Вываляется на простор...

И я, радость свою не тая,  
С теплым солнцем спускаюсь с гор.

Путник добрый, ко мне поспеши!  
Ярким факелом вспыхнул Апрель...  
— Это солнце в рассветной тиши  
Заиграло в пастушью свирель...

\* \* \*

Какая тихая ночь!  
Безмолвен уснувший порт...  
Такая бескрайняя ночь,  
И маленький, маленький порт...

И лишь недодрога Луна,  
Укрывшись в бутылке пустой,  
Маячит во мраке одна  
И слушает тихий прибой...

\* \* \*

Желтый снег все деревья осыпал  
Прошлой ночью и нынешним днем...  
— Это лист угасающий выпал  
И промок под осенним дождем...

Кто-то скрылся, осыпанный снегом.  
Все безмолвно, лишь взмахи крыла...  
— Колокольным заклиненным небом  
Перелетная осень пришла...

## СКАЗ БЕРТСОЛАРА<sup>1</sup>

1

2

Пою о поэте, в апельсиновой роще  
упавшем...  
Песня тихая, ты будто с плачем  
струишься из глаз.  
И тяжелые слезы сжимают ресницы,  
сорвавшись  
Стаей птиц, что к поэту крича  
унеслась...

На том месте, палач, где ты Лорку  
убил...  
Там, где Лорку убил, беспощадный  
палач,  
Словно солнце взошло — кто-то солнце  
взрастил!  
То цветет деревцо алым цветом,  
палач...  
На том месте, палач, где ты Лорку убил.

\* \* \*

Тот день, когда мы встретились  
на улице:  
Дрожащие лучи заходящего солнца,  
Бледные, усталые лица спешивших  
домой людей

И эти лучи, осторожно освещавшие  
их лица  
Каким-то необыкновенным светло-  
фиолетовым огнем...  
— Все они казались мне очень, очень  
нежными.

<sup>1</sup> Народный певец, миннезингер (баскск.)

Как лицо матери, смотрящей на своего  
уснувшего малыша.  
Потом я часто думала об этом,  
Смотря в твои доверчивые зеленые  
глаза...

— Тревожит ли тебя этот радужный  
чуткий свет,  
Освещающий бледные лица уставших  
людей  
На их фиолетовом пути  
В дрожащих лучах заходящего солнца?!

Перевод Валерия КРАСНОПОЛЬСКОГО

## Мириан МИРНЕЛИ

### РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК

Вот он родился.  
Дремлющая сила  
Вдруг забурлила,  
Как водоворот,  
И, разъярив сначала,  
Усмирила  
Стихию непокорных вод.

Родился, как улыбка умиления,  
Что озарила все пути кругом,  
И тянутся тропой поздравленья  
Односельчане в тот счастливый дом.

Дитя лежит, не ведая покуда  
(да и поймет ли в будущем оно?),  
Что величайшее в природе чудо  
Его рождением было свершено.

Что здесь как бы открылся берег некий,  
Куда прямой проложен будет путь...  
Рожденный в грозном, но прекрасном  
веке,  
Будь счастлив, жизнь твоя, как сказка,  
будь.

\* \* \*

Мне лес мигал зелеными глазами —  
Как это было хорошо!  
А я мог любоваться им часами  
Всегда, когда бы ни пришел.

Но вот и осень. Раскричались ветры,  
Тревожней с каждым днем шуршит  
листва,

Взьерошены ветрами, плачут ветви,  
Бессонные, рыдают деревья.

Барахтаются ветры над лесами,  
Опавшую листву кружа, гоня,  
И темными осенними глазами  
Лес омраченно смотрит на меня, —

И кажется, вот-вот его огромный  
Пожар охватит, буינו-неуемный!

\* \* \*

Раскричался ветер, будто  
Очень мается зубами.  
В шалаше светло, уютно,  
В очаге играет пламя.

В шалаше тепло — а тянет  
Нас всегда к теплу и свету.  
Дождь по крыше барабанит,  
Доверяясь дружбе ветра.

Ветра вой все злей, противней,  
Все сильнее дождя удары,  
Рвется ветер вместе с ливнем  
В дверь шалашную на пару.

И как замечал я прежде,  
Топчутся под дверью оба,  
в нетерпенье и в надежде  
Внутрь попасть исходят злобой.

Но напорист бесшабашно,  
Ветер вскоре внутрь ворвался  
И над очагом шалашным,  
Успокоясь, согревался.

Ветром брошен вероломно,  
Дождь не знает, куда деться,  
Плачет, плачет неуемно:  
Хоть бы раз ему согреться!

### ЗИМНЯЯ КАРТИНКА

Обсажена грачами липа,  
Стою в снегу — и наблюдаю.  
Вдруг близкий выстрел грянул  
хрипло —

И, словно ветром, сдуло стаю.  
И стало дерево таким  
Непривлекательно нагим!

Перевод Льва ПЕНЬКОВСКОГО

# КРАСНЫЕ ОБЛАКА \_\_\_\_\_ РОМАН

## РОЖДЕНИЕ

Десять часов утра. Джаба пересекает улицу у Дома шахтеров, входит в будку телефона-автомата и плотно закрывает за собой дверь. Проспект сразу смолкает, точно ему зажали рот: в будке не слышно шума. Джаба набирает номер редакции. Ждет.

— Попросите Ангию, пожалуйста! — говорит он измененным голосом; это, кстати, помогает ему скрыть волнение.

— Он еще не приходил, позвоните через час.

Это Лиана.

«Иначе говоря, он еще у себя дома. Прекрасно!»

Он достает из кармана вторую из трех десятикопеечных монет, полученных от продавца в табачном киоске. Набирает номер. Чувствует, как постепенно одолевает его волнение. Напрягает мышцы — как бы проверяет еще раз, какая страшная сила дремлет в его теле. Автомат глухо щелкает: монета провалилась в предназначенное ей место.

— Слушаю!

Джаба сразу узнает Ангию. Голос — хриловатый, должно быть, с похмелья.

— Привет! — Джаба нарочно не обращается к собеседнику на «вы».

— Здравствуй... — Ангия выжидательно молчит, пытается, наверно, сообщить, кому он понадобился. — Кто говорит?

— Как самочувствие? — Джабе хочется раздражить Ангию.

— Кто говорит, спрашиваю!

— Старый друг, ученических времен, — почему-то первой подворачивается

Джабе эта выдумка. — Попробуй узнать!

— Ученических времен? Это ты, Симон? Или — Андрей?

— Нет.

— Тогда, наверно, Иоани... Или Иаков?

— Ни тот, ни другой.

Ангия надолго задумывается. Потом говорит уверенно:

— Здравствуй, Фома! — и смеется: как это он сразу не угадал! — Как поживаешь, Фома?

— Думаешь, узнал?

— Узнал, конечно.

— Я не был бы так уверен...

— На то ты и Фома...

— А вот и нет! Не Фома я, хоть умри!

Ангия снова замолкает, видимо, в полном недоумении. После долгого раздумья он нерешительно спрашивает:

— Так это ты, Филипп?

— Нет.

— Значит, Варфоломей или Фаддей?

— Нет.

— Петр?

— Нет, нет и нет, — трижды отрекается Джаба.

— Тогда ты, значит, Матвей!

— Нет, и не Матвей.

— Ну, а больше у меня и не было товарищей, когда я был учеником.

— А учитель? — спрашивает Джаба.

— Учитель... — Ангия с трудом глотает слюну, голос изменяет ему. --

Учитель был.

— Я Джаба!

— Джаба Алавидзе?

— Именно, — дерзко смеется Джаба.



— С каких пор ты стал моим товарищем, молодой человек? Что это за болтовня про ученические годы?

— Почему-то пришло в голову. Извините.

— Ты, наверно, пьян!.. А то бы я не простил тебе этого шутовства!

— Опять не угадали. Я совершенно трезв.

— Неудачно у тебя начинается день!

— Не так уж...

— Что это тебе приспичило звонить ко мне спозаранок? Случилось что-нибудь?

— Случилось, батона Ангия. Я должен сообщить вам чрезвычайно радостное известие.

— Что? Что за известие?

— Пришло письмо от моего отца.

Трубка молчит. На губах у Джабы играет насмешливая, уничтожающая улыбка. Он упрямо дожидается ответа.

— Откуда письмо? — раздается наконец испытующий, вкрадчивый голос.

— Не знаю толком — из Галлии или из Альбиона.

— Вот как...

«Сейчас выругает меня... Наконец».

— Скажи-ка... А что пишет твой отец?

— Что воскрес из мертвых.

— Что он пишет, говорю!

«Удивительно — не бранится! Ну, конечно, — ему интересно, к чему яведу, как закончу эту игру».

— Пишет, чтобы я пошел в райком.

— В райком?!

— Именно... Чтобы явился и рассказал, как Ангия благодаря моему малодушию был избран в бюро... И еще про многое другое.

Трубка молчит. Трубка размышляет: в чем дело, откуда в Джабе такая разительная перемена. Но трубке трудно доискаться до причины. Наконец она говорит, стараясь принять грозный тон:

— И что же он думает — выйдет из этого что-нибудь?

— Выйдет, батона Ангия!

— А не думает отец, что сыну крепко попадет за такие штуки?

— Он обо всем думает и на все имеет ответ, батона Ангия.

— А как он оказался за границей — об этом не пишет?

— Пишет. Ангия всему причиной.

— Ах, Ангия, вот как?

Джаба явственно видит перед собой собеседника, ему мерещится знакомая ядовитая усмешка, взгляд исподлбья. Он ищет слова, чтобы заклясть это видение, нагнать на него страху. Но Ангия опережает его:

— Почему он до сих пор ничего такого не писал? Что произошло?

— Не знаю... Наверно, произошло.

Трубка задумывается — и думает долго.

— Ладно, Джаба, — говорит она наконец. — Ступай-ка лучше сейчас домой, проспись, а завтра, когда протрезвешь, ты сам порвешь это письмо.

— Ни за что!

— Порвешь!

— Никогда!

Джаба открывает дверь будки. Грохот улицы врывается внутрь, подхватывает его, уносит на своих волнах.

Он быстро шагает — ничего не видя вокруг себя, ничего не чувствуя. Знакомый проспект заботится о нем: переводит его через улицу у надписи «Переход», останавливает посередине проезжей части, чтобы пропустить вереницу автомобилей, держит на остановке в ожидании автобуса и сагает именно в тот номер, который ему нужен.

Десять часов. Джаба поднимается по лестнице райисполкома, держа в руках фотоаппарат — авось его, как корреспондента, пропустят к начальнику отдела без очереди.

Перед кабинетом Бенедикта нет никого. «Прием от 2 до 5 часов» — читает Джаба. Толкает дверь — она заперта.

— Зибзибадзе принимает в кабинете председателя, — говорит кто-то за его спиной.

Это сотрудница райисполкома, она стоит в дверях противоположной комнаты.

— Председателя?

— Да. На пятом этаже, — женщина указывает вверх пальцем и движением бровей.

— Он назначен председателем?

— Пока еще нет, но... — улыбается сотрудница. — Председателя перенесли на другую работу, и Зибзибадзе сидит в его кабинете. — Она опять поднимает одновременно палец и брови.

Не дожидаясь лифта, Джаба взбегаёт по лестнице на пятый этаж.

В приемной председателя райисполкома за небольшим столом без тумб и ящиков сидит худощавый молодой человек. Он вскакивает и препраждает Джаба: путь перед самой дверью кабинета.

— Вы к кому?

— К товарищу Зибзибадзе.

— По какому делу?

— Это я скажу ему самому.

— И все-таки, что вам нужно? — у молодого человека полна горсть семечек; он безостановочно лузгает их.

— Доложите, что пришли из журнала «Гантиади».

— Хорошо, — говорит молодой человек и спокойно садится за свой стол. — Сейчас у него совещание. Подождите.

— Я очень спешу.

— Прошу подождать, — молодой человек указывает на стул.

Джаба нервничает, курит сигарету за сигаретой. Комната наполняется молочно-голубоватым дымом. Молодой человек, технический секретарь, встает и прикрепляет кнопками к стене надпись: «Курить строго воспрещается».

Аккуратно нарисованные буквы сразу как-то поворачиваются лицом к Джабе — едва родившись, приступают к исполнению своих обязанностей.

Джаба вытягивает из пачки новую сигарету, но не закуривает: не стоит связываться.

Технический секретарь по-прежнему сидит у своего стола и орудует карандашом. Должно быть, готовит еще одну надпись: «Не задерживайтесь без дела», или «Просьба закрывать дверь».

Вдруг молодой технический секретарь вскакивает — видимо, безошибочное чутье извещает его, что к двери кабинета подошли изнутри, хотя оттуда не доносится ни звука.

Джаба встает вслед за секретарем. Волнение расслабляет его, он чувствует себя обессиленным, как после долгой болезни. А может быть, он в самом деле давно уже болен?

Из кабинета выходят трое. Один, длинный как жердь, смотрит на Джабу так, словно перед ним невеста какая невидаль; кажется, один глаз у него стеклянный. Другой, низенький, шагает, откинувшись назад всем корпусом — очевидно, чтобы не волочить по полу огромное брюхо. Третий, которого они ведут, держа с двух сторон, поражен страшным недугом: он безостановочно роется в карманах.

Технический секретарь приглашает Джабу в кабинет.

При виде Бенедикта Джаба успокаивается, теперь важно одно: не тянуть.

— А-а, товарищ Алавидзе, мое почтение! Привет будущему зятю, привет! — Бенедикт отделяется от стола и спешит с распростертыми объятиями навстречу Джабе. — Слушай, где ты пропадаешь, я давно уже тебя жду, звоню тебе беспрестанно. В Москву ездил? Давно ли вернулся? Я тебе тоже приготовил хорошенький подарок, да, да, мой Джаба, я тоже... Он там, в моем кабинете, — он показывает вниз, на пол.

— В прежнем кабинете?

— Хе, хе... Не знаю, посмотрим... Придется его сменить, иначе нельзя, придется... С помощью друзей и доброжелателей! Сейчас пошлю за ордером, посмотришь своими глазами. Поставим на бланке вашу фамилию — и дело в шляпе.

Бенедикт тянется к кнопке звонка. Джаба отводит его руку и садится за стол, в кресло председателя райисполкома. Бенедикт делает вид, что не замечает его нахальства.

— У меня к вам маленькая просьба, батона Бенедикт.

— Пожалуйста, мой милый, ты мне такую услугу оказал, что я любую твою просьбу обязан исполнить.

Джаба закуривает сигарету и пускает струю дыма в потолок.

— Одолжите мне сто тысяч рублей!

Бенедикт хватается обеими руками за сердце, медленно опускается на стул.

— Откуда я возьму, дружок, сто тысяч — да я столько денег сосчитать не сумею!

— Вы должны мне их одолжить.

— Да ты что, с ума сошел?

— Ну, тогда пусть будет двести.

— Двести рублей? — к Бенедикту возвращается румынец.



— Двести тысяч... У тебя все равно еще много останется!  
 — Да ты что, смеешься надо мной, что ли? — кричит Бенедикт.  
 — А если меня назначат сюда — как тогда? — Джаба стучит пальцем по

ручке председательского кресла.

У Бенедикта перекашивается лицо. Нижняя губа и подбородок у него дрожат, как в лихорадке, он пытается что-то сказать, но не может.

«Довольно. Теперь перейдем к делу», — думает Джаба. Он берет телефонную трубку и набирает номер со словами:

— Раз ты отказываешься одолжить, я вынужден...

Первое, что бросилось Джабе в глаза, когда он вошел в кабинет, был блестящий телефонный аппарат на столе; Джаба сразу почему-то подумал о заместителе министра внутренних дел; в памяти всплыл номер телефона — крупные цифры, выведенные его, Джабы, вечной ручкой.

— Это министерство? Попросите товарища Кебурия... Из журнала «Гантиади»... Алавидзе... По какому делу? У нас печатается его статья, он сам просил позвонить... — Джаба поднимает глаза; Бенедикт медленно, незаметно отступает к двери — так медленно и незаметно, что Джабе кажется: Бенедикт стоит на месте, а дверь движется к нему... Джаба улыбается в телефонную трубку: — Здравствуйте, батоно Леван. Это Алавидзе, из редакции «Гантиади». Спасибо, прекрасно... Мы получили от вас фотодокументы, все в порядке... Да, в декабрьском номере... Спасибо, передам... Батоно Леван, — Джаба дышит с трудом, ему не хватает воздуха, хотя он ни с кем не разговаривает: в последнюю минуту он набрал не тот номер, и никто ему не ответил. Сейчас Джабу интересует, как будет вести себя Бенедикт, он должен проверить, правда ли все то, в чем он Бенедикта подозревает. — Батоно Леван, у меня к вам срочное дело... Прошу вас, записывайте за мной... Вы слушаете? На Чалаурской улице, в доме номер 57, — говорит Джаба с расстановкой; Бенедикт стоит, прижавшись к двери, похожий на чучело какого-то животного. — Записали? Сейчас объясню, в чем дело. В этом доме живет некто Бенедикт Зибзибадзе, взятчик... — Джаба чувствует, как оживает чучело и, расшаркав, бежит к нему. — Прошу вас немедленно обыскать его квартиру... — Джаба видит перед собой Бенедикта с револьвером в руке; блестящая сталь отливает синевой; у него сразу пересыхает во рту, словно он глотнул пламя. — Батоно Леван, он вооружен. Посмотрите в книжном шкафу, в томах сочинений Бальзака... — Какое-то неодолимое упорство, или инерция возбуждения растягивает губы Джабы в улыбке; инстинкт самосохранения подсказывает, что сейчас его может спасти разве что шутка. — Будьте осторожны, батоно Леван, он вооружен! Вот слушайте, если не верите! — Замороженная страхом улыбка превращает лицо Джабы в безжизненную маску, он поднимает вверх телефонную трубку и закрывает ею маячащую перед ним точку — дуло револьвера. — Слушайте, батоно Леван!

Это было ошибкой, последним, решающим толчком. Черная пластмассовая трубка разлетается вдребезги, раздробленная пулей. Джаба хватается обеими руками за голову и отлетает назад, ударяется о спинку кресла. Последнее его зрительное впечатление — бегущий к двери Бенедикт... Он тянется к фотоаппарату, лежащему перед ним, хочет снять эту картину... Смутная мысль, что все это уже когда-то было, отрывается каплей от его сознания и испаряется, превращается в ничто.

Соленый мрак — необъятный, бездонный океан — ходит ходуном, бурлит, грызет берега. Прошел миллиард лет — а он все не может уместиться в своем ложе и, наверно, никогда не привыкнет к нему. В глубине океана плывет Джаба. Он так мал, что не различает сам себя.

«Это монара, одноклеточное существо, — говорит учитель Цабо. — Она размножается делением».

Наконец Джабе удалось выбраться на поверхность океана. Он осматривается в мире, глядит по сторонам.

— Мама! — обрадованно кричит он.

Мать стоит на берегу. Зеленые косы достают ей до щиколоток, лицо ее сияет как солнце, подол ее — горные склоны, покрытые дремучими лесами, с ее груди низвергается белопенный водопад.

— Что дальше? — спрашивает Джаба.

Мать наклоняется, опускает руки в воду, ласкает сына. Джаба понемногу растет.

«Это гидра, дети, многоклеточное существо низшего уровня», — слышится в классе голос учителя.

— Дальше, мама, дальше!

Волны качают Джабу, он то приближается к матери, то удаляется от нее. Мама наклоняется снова, зачерпывает горстью воду, а вместе с нею и Джабу, ла-

скает его. У Джабы отрастают плавники, появляются жабры; взмахнув сильным хвостом, он исчезает в волнах. Вольно-скользит он по океанским просторам, подплывает к островам, погружается в пучину, но скоро все это надоедает ему, и он поднимается на поверхность.

— Дальше, мама, что же дальше?

Мать задумывается. Она думает долго. Зеленые косы ее недвижны. Она словно боится — как бы не совершить ошибку. Наконец она наклоняется, вытаскивает Джабу из океана и сажает его на землю...

«Встань и отвечай урок!» — учитель стоит у окна, зайчик, отбрасываемый его очками, дрожит на стене.

«Амфибия, — начинает Джаба, — это переходная ступень между водяными и земными существами...»

— Дальше, мама, дальше!

Джаба прыгает с ветки на ветку; шелестят мягкие листья. Паря, опускаются на землю оборванные им красные и белые цветы. Так, по деревьям, пробежал Джаба через весь лес. Кажется, за ним никто больше не гонится...

— Дальше!

...Джаба греет руки у костра, огромная его тень колеблется на стене пещеры.

— Дальше! Что дальше, мама? Будет еще что-нибудь?

Мать подходит к нему, садится рядом, гладит Джабу по голове.

— Ты теперь уже большой, сынок, научился ходить, говоришь, есть у тебя разум. Теперь все зависит от тебя одного. Я не скупилась на труды — ничего для тебя не пожалела. Каким будешь ты, такими будут и твои дети...

...Воздух впервые попал Джабе в дыхательное горло, и он заплакал. Ревет громко, протяжно, на всю комнату.

— Опять таким же родился? — повитуха изумлена и смотрит с виноватым лицом на маму.

Мама приподнимается на постели, улыбается.

— Да, таким же... Но на этот раз я не поручу его соседке, когда пойду на рынок!

— Ну, тогда другое дело, — успокаивается повитуха.

Комната очень большая. Потолок высокий, как само небо. Джаба вскочил, убежал от матери в соседнюю комнату. Там хлопочут военные.

— Вы записываетесь в добровольцы? — спрашивает офицер.

— Да.

— Тогда познакомьтесь! — приказывает офицер сурово, точно давая боевое задание, и подводит Джабу к красивой женщине.

Джаба подает ей руку, сердце у него сжимается: половина лица у женщины обожжена и исполосована шрамами.

Женщина понимает, что Джаба заметил это, и плачет.

Джаба проходит в следующую комнату. «Мама, наверно, ищет меня. Как быть? Вернуться?»

Посередине комнаты стоит Ангия. Джаба прячется за дверь и следит за ним через замочную скважину. Ангия раскладывает на столе столярный инструмент. Потом наклоняется и ставит на пол маленького Бенедикта.

— Плачь! — приказывает он, глядя на него сверху.

Бенедикт плачет.

— Смейся!

Бенедикт смеется.

— Умри!

Бенедикт умирает.

— Воскресни!

Бенедикт оживает.

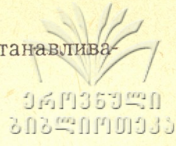
Ангия чрезвычайно доволен. Он нагибается, подхватывает Бенедикта и зажимает его в горсти. Потом открывает дверь и выглядывает на улицу. Убедившись, что за ним никто не следит, он быстро высовывает руку в дверь и выпускает Бенедикта. Бенедикт бежит без оглядки и смешивается с толпой где-то вдали, на людной площади. Ангия снова берется за инструмент и начинает мастерить второго Бенедикта...

— Нале-е-во!

Песок пустыни слепит Джабе глаза, но он и бровью не ведет: сейчас нарушать строй ни в коем случае нельзя.

Полководец сидит на коне, вздымая над головой обнаженную саблю.

— Храбрые мамелюки! — обращается он к войскам. — Враг напал на нашу землю... Кровь за кровью!



Женщина с обожженным лицом раскрывает классный журнал, останавливается перед строем и вызывает по списку:

- Любовь!
- Здесь! — откликается Джаба.
- Храбрость!
- Здесь! — повторяет Джаба.
- Страх!
- Нет! — Джаба гордо глядит на полководца.

Женщина подходит к Джабе, целует его.

Надвигается враг; он уже миновал линию пирамид. Вперед идут танки. Джаба поднимает репродуктор, как автомат, и уничтожает их. Но враг не дрогнул — он упорно наступает, идет вперед. Вражеские войска уже совсем близко. Джаба изумлен: каждый солдат — Бенедикт! В первой шеренге, во второй, в третьей, в первом взводе, во втором, в третьем, все — Бенедикты, одни Бенедикты, только одетые в военную форму. Все вместе, одновременно, прицеливаются в Джабу из револьверов и все вместе, одновременно, стреляют...

Он открывает глаза, переводит взгляд с потолка на высокое окно, видит в его раме оголенные ветви деревьев. Потом его внимание привлекают кровати, покрытые белоснежными простынями. И вдруг он осознает все.

Мама сидит рядом на стуле, повернувшись к нему спиной, и разговаривает с каким-то стариком. Старик полулежит на соседней кровати, откинувшись на высоко взбитые подушки. Рука Джабы выползает из-под одеяла и тербит край халата Нино.

Мама мгновенно, словно пораженная ужасом, поворачивается к нему, падает на колени перед кроватью, покрывает руку Джабы поцелуями.

— Джаба, сыночек! Джаба, сыночек! — больше она не в силах ничего говорить. Глаза у нее наполняются слезами. Но от этого ее радость еще явственнее, еще очевидней.

— Спасен! Спасен! Как обрадуется профессор, пожалуй, сразу и не поверит! Это, должно быть, сиделка; схватившись обеими руками за щеки, она пятится к двери палаты.

Больные приподнимаются на постелях. Некоторые даже встают с кроватей, собираются около него, толпятся за спиной у мамы. У Джабы кружится голова. Он чувствует, что не может пошевелить шеей, и догадывается, что она зажата в лубках.

— Ну-ка, все по своим постелям! Профессор идет!

Джаба видит в дверях лицо врача, вытянутое то ли от волнения, то ли от профессионального любопытства, улыбается и теряет сознание.

## ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ

17 декабря.

Вот уже неделя, как мама не дежурит около меня по ночам. Я с трудом убедил ее, что это излишне. Мне казалось, что ее горе, ее тревога затягивают мое выздоровление. На кровати по соседству со мной сменился уже третий больной. Я же, наверно, смертельно надоел и своей кровати, и палате, и врачам. Сейчас рядом со мной лежит один азербайджанец. Он громко, никого не стесняясь, стонет, вздыхает, а когда боль отпускает его — ест, ест без конца. В промежутках он рассказывает мне плоские анекдоты столетней давности. Его акцент придает этим обветшалым историям неожиданный забавный оттенок, и я с удовольствием слушаю его — даже смеюсь. Бедняге уже один раз сделали операцию в Баку, но, зашивая, неправильно уложили кишки в брюшину. Здесь его оперировали вторично. Заметив седину у меня в волосах, он обещал мне такую краску, что, по его словам, даже дети мои никогда не поседеют...

Вчера Нодар развивал такую «теорию»: А, В и С довелось жить в одно и то же время. Они никогда не встретятся и не будут знакомы с D, E и F, которым предстоит родиться через сто лет, не смогут полюбить их или стать их врагами. А, В и С, которым выпал жребий жить на земле вместе, могут общаться лишь друг с другом; возможность взаимоотношений с другими людьми (с будущими людьми D, E и F) исключена. Отсюда следует, что человек должен использовать свою жизнь для любви, должен любить своего ближнего, «товарища по столетию». Если им овладеет ненависть, он уйдет из мира, не испытав того великого счастья, которое дарит человеку любовь. Жить — значит любить; ненавидеть — то же самое, что не жить.

Я сказал, что это вздор, глупость: если ты не испытываешь ненависти к тому, кто ее достоин, значит, ты не любишь того, кто как будто любим тобой.



23 декабря.

Гомеостат! Четырехкабинный душ — пережиток старинной бальнеологии. Сейчас его собираются использовать для проверки способности приспособления к коллективу членов будущих космических экипажей. Две трубы подают горячую и холодную воду. Вода распределяется поровну между всеми четырьмя кабинами, но если кто-либо из принимающих душ пожелает сделать воду у себя погорячей и повернет соответствующий кран в кабине, у остальных троих вода остудится. Естественно, все они бросятся к своим кранам, станут наперебой крутить их и, в конце концов, все спутается — все четверо окажутся под холодным душем. И вот, того космонавта, который захотел улучшить свои условия за счет товарищей, не пустят в космос (журнал «Наука и техника»).

Если бы возможно было устроить гомеостат на миллион кабин! С его помощью удалось бы в один прием выявить и разоблачить всех мошенников, всех любителей поживиться за чужой счет!

Бenedикт попал в аварию не во Мцхета, а около Дигоми. И вовсе он не столкнулся с дорожным катком, как говорили. Его автомобиль налетел на полном ходу прямо на будку автоинспекции. Так посмеялась над ним судьба: хотел убежать от закона — и прикатил к милиции на собственных колесах! Ему сделали сложную операцию с трепанацией черепа. Если бы он погиб, я не стал бы жалеть — а сейчас мне почему-то его жалко. Он совершенно потерял память, никого не узнает, не помнит названий самых обыкновенных предметов. Словом — разучился говорить. У него ум двухлетнего младенца, так что его учат всему с самого начала. Он позабыл даже слово «есть».

— Предупредите ваших коллег, чтобы они ни в коем случае не учили его этому слову! — попросил я профессора.

Он посмотрел на меня с недоумением.

— Почему?

— Опасно: «есть» — «жрать» — «глотать». А значит — хватать, хапать. Раз уж воспитание ведется с самого начала, лучше научить его не «есть», а «питаться».

Шутки шутками, а мне все же как-то жаль Benedикта. Сегодня мне рассказали, что он узнал своего младшего сына, стал его целовать, а из глаз у него катились слезы.

Старший сын Benedикта пропал, две недели его ищут и не могут найти. Должно быть, Ромул решил построить собственный город.

Пока к Benedикту не вернется разум, его не могут судить. А разум, возможно, никогда к нему не вернется.

25 декабря.

Тамила! Тамила! Тамила приходила ко мне! Я совсем было забыл ее. И совсем не ожидал ее посещения. Почему-то мне хотелось целовать ее руки. Она сидела около меня и щебетала. Она была похожа на раковину из небесных глубин, в которой еще не заглохли звуки неба; и голос ее отдавался музыкой у меня в ушах.

28 декабря.

Перечитал дневник и вспомнил: как я боролся с собой, чтобы не вписать в него имя Дуданы! И вот, оно все же оказалось на этих листках. Дудана ведь тоже однажды навестила меня, когда я лежал больной дома...

Кровь моя бурлит, струится по жилам — где-то во мне, словно на магнитной ленте записывается песня о Тамиле, и новая запись стирает старую — песню Дуданы.

В самом деле это так — или только кажется мне?

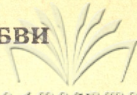
1 января.

Мама оставалась со мной допоздна. Когда пробило двенадцать часов, она расцеловала меня, положила мне в рот, по обычаю, кусочек гозинаки<sup>1</sup> и ушла.

Мне не спалось — я бодрствовал чуть ли не всю новогоднюю ночь. В окно ко мне смотрела луна. Я беседовал с нею в душе.

Я сказал ей: «Новогодняя луна 1957 года! Клянусь, через год или два снова мы встретимся с тобой в этот же час... Я буду тогда совсем другим — и у меня будет чем гордиться, клянусь тебе!».

<sup>1</sup> Гозинаки — сладость из меда и орехов; готовится обычно под Новый год.



Тамила держала в руке цветущую ветку сирени. Она нюхала сирень, нюхав, подносила ветку к лицу Джабы. Но Джаба отворачивал голову и не разглядывал прохожих.

— Словно это не цветы, а крапива! — сказала Тамила с упреком.

— Будь ветка в моей руке, я нюхал бы с удовольствием, а так мне неохота.

Тамила хотела свернуть к мосту Челюскинцев, но Джаба предложил пройти по Пехановскому проспекту до Верийского моста. Они собирались подняться на Мтацминдское плато.

Улицы, дома сверкали под лучами майского солнца. Прохожие щурились, как бы осторожно прищурив глаза к яркому свету после туманных зимних дней. Длинные тени, протянувшиеся с тротуара на проезжую часть, порой пугали водителей мчавшихся мимо автомобилей, заставляли их резко замедлить ход.

На телефонном аппарате, прикрепленном к стене дома, сидела желтая бабочка.

— Вот увидишь — сейчас она перепорхнет на ветку, — сказала Тамила и поднесла сирень к автомату.

Бабочка улетела.

— Догадалась, что цветок не мог так быстро вырасти из земли! — сказал Джаба.

— Или, как ты, приняла сирень за крапиву.

— Не кусайся, как крапива!

Тамила засмеялась.

— Я ведь твой папа — ты помнишь об этом?

— Помню.

— Ну, так веди себя смирно!

Странное желание владело Джабой с некоторых пор: ему хотелось, чтобы перед ним не иссякали препятствия, чтобы он всегда и во всем наталкивался на сопротивление. Он знал, что так оно и будет независимо от его желания, что так устроена жизнь, но сейчас он сам искал трудностей. И препятствия должны быть настоящими препятствиями, трудностями — настоящими трудностями, чтобы преодоление их стоило усилий. Он боялся — как бы препятствия не обошли его стороной, не встали на пути у кого-нибудь другого, тогда ведь этот другой, а не Джаба, закалится в борьбе с ними, другой, а не он, будет жить полной, настоящей жизнью!

Ему не нравилось, что Тамила так быстро, так легко осваивается, сближается с ним. Он решил не идти навстречу своему чувству, не раздувать огня, а предоставить свободу самой любви и ждать, чего она достигнет без помощи тех, кого собралась сделать своими пленниками. Быть может, так ему скорее удастся постичь глубину или ничтожество любви Тамилы...

Джаба поднес руку к голове, потрогал пальцем зажившую рану. Он то и дело машинально щупал свой шрам — неужели на этом месте больше не вырастут волосы?

Тамила проследила взглядом за его рукой.

— Джаба! Ведь ты был на волосок от гибели! А если бы...

Джаба усмехнулся.

— Этот страх уже не застал меня на свете: я успел раньше потерять сознание.

Тамила была прелестна — свежая и благоухающая, как сирень в ее руке. Джаба никогда не думал, что походка может так красить женщину. Тамила при каждом шаге как бы стремилась оторваться от земли, взвиться в воздух — и тотчас же возвращала себя испугавшейся на мгновение земле.

— Боже мой, как мне нравится вон та девушка!

— Какая девушка? — Джаба оглянулся.

— Вон там, на площади, у остановки! — Тамила показала пальцем в ту сторону.

У Джабы ослабели ноги. Он остановился — а с ним остановилась и Тамила. Около автобусной остановки стояла Дудана. Она смотрела куда-то вдаль, через площадь, не замечая ничего вокруг. Казалось, она одна в чистом поле, прикованная к месту каким-то потрясшим ее зрелищем.

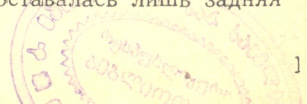
«Еще под машину попадет!».

— Подойдем к ней поближе! Правда, какая красивая девушка?

«Ждет автобуса? Нет... И никого не ждет. Куда она смотрит?».

Он проследил за взглядом Дуданы и вздрогнул, неприятно пораженный. Дома, в котором жил Гурам, уже не было — от него оставалась лишь задняя

94.923



стена, возвышающаяся над кучей развалин. Джаба узнал обои с темно-вишневыми претами, нишу, в которой Гурам держал книги, раму кухонной двери, ту комнату... Вон там стояла тахта, в том пространстве, где сейчас роится блестящая пыль... Гурам ввел Джабу туда и показал ему тахту... На столике горела лампа — там, где сейчас раскачивается оборванный конец проволоки... Вот это все и приковало к месту Дудану. Эта проволока, эти обои, это пустое пространство, где она лежала тогда обнаженная... и куда сейчас смотрит вся улица.

Дудана быстро поглядела по сторонам — ее как будто ошеломило все это многолюдье; Джабе показалось, что она вскрикнула, почудилось, что она прижала руки к груди, сорвалась с места и исчезла в дверях магазина «Одежда».

— Что с ней? — повернулась к Джабе Тамила; взгляд ее затуманило подозрение, она каким-то образом почувствовала, что Джаба мог ответить на этот вопрос. Но она не получила ответа. Джаба стоял на месте, словно окаменев. По лицу Тамилы можно было ясно прочесть, как в уме у нее взвихрилась тысяча вопросов и как потом родился взамен и как бы в ответ на них один, самый главный вопрос.

Они шагали молча. Перешли через мост. Стали подниматься по спуску Эл-бакидзе.

«О чем сейчас думает Тамила? Когда-нибудь я расскажу ей все».

Мельком, словно из мчащейся машины, увидел он Дудану, и многое ускользнуло от его внимания. Сейчас ему хотелось подробнее вспомнить виденное: лицо Дуданы, каждую его черту, стену разрушенного дома, людную площадь, толпу на автобусной остановке... Проехал синий автобус и закрыл от Джабы Дудану... Кто-то окликнул в эту минуту Джабу — а кто, он сейчас не может вспомнить... Дудана стояла в тени, граница света и тени на асфальте проходила у самых носков ее белых туфель. По тротуару рядом шел старик-генерал. Что делала в это время Тамила?.. Дудана круто повернулась и побежала, скрылась в магазине. У входа в магазин стояла продавщица мороженого. От толпы на остановке отделилась кто-то знакомый... Нодар? Да, сейчас Джаба ясно вспомнил: это был Нодар. Он прошелся перед магазином, заглянул внутрь через зеркальную витрину, повернул назад... Потом исчез. Джаба не заметил, в какую сторону он направился. Не вошел ли и он в магазин?

Джаба очнулся. Он стоял и смотрел вдаль, через улицу, через реку, Тамила стояла рядом.

Джаба признался самому себе: он предложил Тамиле пройти по Плехановскому проспекту для того, чтобы бросить взгляд на дом, в котором в последний раз видел Дудану. Может быть, Дудана сейчас очень несчастна?

Может быть, Дудана сейчас очень несчастна? И может быть, Нодар понял это?

Сам того не заметив, он повернул назад, к мосту.

— Джаба!

Он остановился. Тамила подошла к нему, взяла его за отвороты пиджака.

— Джаба, ты должен был сразу подойти... Почему ты не подошел?

Больше она ничего не смогла выговорить. Руки ее бессильно повисли вдоль тела. Глядя в землю перед собой, она чуть кивнула на прощание и побрела по улице. Она уже не стремилась к небесам, не отрывалась от земли при каждом своем шаге; казалось, все горе, все отчаяние мира навалились на нее, пригнули к земле ее хрупкие плечи.

— Тамила!

В два длинных шага, в два прыжка Джаба догнал ее.

Долго стояли они молча. Каждая набегающая секунда как бы уничтожала злые чары предыдущих. Наконец потеплело.

— Пойдем, — сказал Джаба.

Перед кассой воздушно-канатной дороги не было никого. Джаба взял билеты и сделал знак Тамиле, приглашая ее с собой. Тамила стояла поодаль под большой елью и вытирала платком руку — должно быть, нечаянно дотронулась до дерева и испачкалась в липкой смоле. Но терла она руку слишком уж усердно, как бы показывая, что вот случилась такая досадная вещь, и она теперь из-за этого не может сдвинуться с места. На самом же деле, ее тревожило совсем другое...

— В чем дело, Тамила? — Джаба ласково коснулся ее щеки, провел рукой по густым ее волосам.

— Джаба... — платок задвигался еще быстрее, но Тамила сейчас, должно быть, не видела своих рук — и вообще ничего не видела. — Джаба... Когда тебе больше не захочется бывать со мной, когда...

— Тамила...

— Когда ты решишь, что мы больше не должны встречаться, когда мы уже не будем так близки друг другу...

— Тамила, почему...  
— И когда ты меня больше не... Совсем не... Ни чуточки... Ты скажешь тогда, как мне поступить? Как быть после, когда тебя уже не будет со мной... Скажешь? Потому что я не знаю...

— Тамила!

Она сказала его руки повыше локтей своими слабыми руками, и Джаба покзалось, что он сейчас упадет на колени.

Совсем другая, изумительная девушка стояла перед ним. В памяти Джабы промелькнули университетский двор, первая встреча с Тамилой — и он понял, что девушка эта была изумительной и тогда, только он, Джаба, не заметил...

Словно он стал вдруг обладателем какой-то необычайной драгоценности, и это обязывало его жить отныне совсем по-иному. Словно он внезапно стал самым замечательным человеком в мире, только этого никто не знал, кроме его самого.

Вагон канатной дороги скользил над самыми верхушками деревьев, как впервые взлетевший птенец. Посередине овального вагона стоял в одиночестве проводник. Пассажиры, повернув к нему спины, прилипли к окнам и смотрели вниз. Город постепенно уходил в глубину.

Джаба посмотрел из вагона вниз на крыши и стал искать взглядом дом Бендикта.

«Наверно, уже проехали над ним».

...Они шли по главной аллее парка. Миновали качели, тир, карусель.

— Устала! — улыбнулась Тамила, закинула голову и вздохнула полной грудью. — Что за воздух! Прямо с неба — стекает!

Они стояли на круглой площадке. Почва была глинистая, белесая, их удлиненные тени темнели на ней, точно рвы, точно небо было чистое, синее, как зеница младенца. И посередине этого огромного глаза, как пробудившаяся мысль, сияло солнце.

— Джаба! — окликнула спутника Тамила. — Посмотри на свою тень, а потом наверх.

— И что же?

— Увидишь ее на небе.

Джаба посмотрел на свою тень, потом поднял взгляд.

— Ничего не вижу!

— Не так... Долго надо смотреть. Расставь ноги, шире, вот так. Теперь раскинь руки. Так. Не шевелись. Смотри на тень, не своди с нее глаз, пока я не скажу.

Тамила и сама раскинула руки. Долго стояли они, застыв в этой позе. Джаба боялся пошевелиться. Краем глаза он видел и тень Тамилы. Он собирался уже сказать, что устал, что с него хватит, и тут услышал команду Тамилы:

— Смотри наверх!

Джаба взглянул на небо и пошатнулся: ему показалось, что земля ушла у него из-под ног, что он взлетел в пространство. На синем куполе неба простерлась его тень — огромная, неуклюжая, с раскинутыми руками. Слева от нее виднелся другой силуэт, поменьше, не такой четкий и почти прозрачный — это была тень Тамилы.

— Я думал, ты разыгрываешь меня, — сказал, не поворачивая головы, Джаба. — Кто тебя научил этому фокусу?

— Мой папа.

— Долго тень продержится? На небе?

— Не очень.

— А мою тень ты видишь?

— Вижу, но неясно. А ты мою?

— Я тоже.

Так, закинув головы, они как бы беседовали с небом. У Джабы от напряжения пестрило в глазах; обе тени, его и Тамилы, представлялись ему огромными альбами облаками.

«Сейчас наши тени вмещают несчетное множество звезд, — думал Джаба. — Они объемяют миры, отделенные друг от друга миллионами километров... Наши тени объединяют эти миры».

Джаба, не глядя, нащупал около себя руку Тамилы и сжал ее пальцы. Плечо Тамилы коснулось его плеча.

А в небе недвижно застыли два силуэта, словно ожидая какого-то знака с земли.

# ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕГОН

ПОВЕСТЬ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот уже почти месяц, как Мириан Хмаладзе, внук машиниста Хашурского депо Татэ Хмаладзе, ушел из родного дома. Татэ почти и не видал его, все это время Мириан, возвращаясь из рейса, сдавал свой электровоз принимающей бригаде и тут же исчезал.

Татэ глубоко переживал все это, но не подавал виду. Зато жена его, Эло, без конца плакала и ругала Татэ, обвиняя его во всем происшедшем.

Татэ упорно отмалчивался. Он ждал. Но вчера, когда даже после юбилейного вечера деда Мириан не пришел домой, Татэ решил действовать.

— Будет тебе хныкать, — сказал он Эло. — Вот рассветет, я отправлюсь на поиски. Какие есть деревни от Хашури до Зестафони, все пешком обойду, а найду его. Да я знаю — он у той женщины, где еще ему быть!

— Ох горе ты мое! Из-за тебя, изверга, мальчик в дом войти боится!..

— Завела волынку... Я, оказывается, и виноват, выдали!

— Да, да, да, будь неладен твой поганый характер! Упрямый козел.

— Ладно, ладно, не скули! Видишь, в дорогу собираюсь, чего расквохталась, — прикрикнул Татэ на жену.

Светало, когда он вышел из дому. Сейчас из Хашури в Зестафони пойдет рабочая электричка. Татэ устроивало ехать этим поездом — он останавливается на каждой платформе, так что Татэ сможет по пути разузнать о внуке. Главное, проехать Ципский тоннель, а дальше он пойдет пешком, вдоль речки Чхеримелы, обойдя все приречные села.

На стене станционного здания еще висела вчерашняя афиша. Татэ краешком глаза прочел: «...состоится юбилейный вечер... старшего машиниста Татэ Хмаладзе...». И он мысленно вернулся к событиям вчерашнего дня.

Всей душой противился Татэ этому юбилею. Не в его характере были подобные вещи. Последние дни перед торжественным вечером он чувствовал себя совсем подавленным. Эло все старалась отвлечь, развеселить его, но она и сама сильно волновалась. Порой в глазах ее поблескивали слезы, и скрыть их от мужа она не умела. Как скроешь, как утаишь что-то от человека, с которым столько лет идешь бок о бок по нелегкой дороге жизни, столько лет делишь радость и горе, столько лет тянешь одно ярмо, от человека, который знает, как стучит твое сердце.

Но так или иначе, Татэ Хмаладзе взял себя в руки. Часа за полтора до назначенного времени он приготовился: облачился в парадную форму, со всеми медалями и значком Почетного железнодорожника.

— Теперь я все равно что праздничная стенгазета, — смущенно улыбаясь, пошутил он.

— А что, такой день раз в жизни бывает, Татэ, — отозвалась Эло.

«Раз в жизни... Да лучше б его и вовсе не было...»

Татэ терпеливо дожидался машины. Оказывается, юбилярам ходить пешком не положено: в депо повезут его на машине.

Эло в новом шерстяном платье, в новых чулках и туфлях сидела, сложив на коленях натруженные руки, и покорно смотрела на мужа. Оба молчали.

Наконец пришла машина. В комнату влетел шофер начальника депо Зураба Кобидзе, за ним — председатель месткома. Татэ и Эло торжественно усадили в машину и повезли в депо.

В деповском клубе, ярко освещенном, украшенном цветами, было многолюдно; шумно, празднично. Прибыли гости и из Тбилиси — сам начальник отделения дороги и другие важные лица. Татэ встретили как какого-нибудь героя — перед ним почтительно расступались, ему пожимали руки, спрашивали, как он себя чувствует. Потом его усадили в почетное юбилярское кресло.

«Негоже мне в кресле сидеть. Еще Мириана в люди надо выводить... Нет, не время пока! Я и не устал, и ноги у меня крепкие. Зрение, правда, кой-когда изменяет, но это сущие пустяки. Да, я еще вполне могу работать, вполне...» — думал Татэ, будто споря с кем-то. Ему было стыдно и неловко сидеть на сцене. Он посмотрел в зал, отыскав глазами Эло. Она сидела прямо против него, в первом ряду. Нарядная, сияющая, довольная.

Зазвучали приветствия и поздравления.

«Сколько брехни и ненужной болтовни, батюшки мои! — смущаясь, думал он, слушая эти приветствия. — Ишь ты, оказывается, Татэ Хмаладзе не обыкновенный человек! Знаменитый машинист, знаменитый железнодорожник, воспитатель кадров... Тьфу... Срам да и только! Перед Эло совестно, как мне в глаза посмотреть? — Он отер вспотевший лоб белым крахмальным платком. Ну, слава тебе господи, унялись!.. А теперь что? Куда? Ах, ну, конечно, банкет!..»

Эло следовала за ним по пятам. По старой привычке она никому «не доверяла» мужа: никто, как она, не знал, что ему нельзя недоспать, недоесть, нельзя быть расстроенным, усталым, — машинист Татэ, а машинист всегда должен быть бодр и спокоен.

На банкете Татэ высидел недолго, тошно ему было «от всего этого суетловия», как он сказал. Улучив подходящий момент, он незаметно ушел. Эло, разумеется, побежала за ним.

На улице он снял с себя парадный мундир, в котором было ему жарко и тесно, и остался в одной сорочке.

— Простудилшься чего доброго, ты весь потный, — заволновалась Эло и побежала домой — благо, недалеко было — принести ему рабочую куртку.

Она быстро вернулась и набросила куртку ему на плечи.

— Спасибо, жenuшка, — растрогался Татэ. — Не могу я эдаким попугаем ходить. Ну, куда бы нам теперь двинуться?

— Домой, Татэ, куда же... Отдохни.

— Нет, Эло! — возразил Татэ.

— А куда же? Поздно уж...

— Знаешь, пойдем-ка в тупик, что за станцией.

— Чего ты там не видал?

— Мне сказали по секрету, что мой старый дуплекс стоит сейчас в тупике. Ты подумай, на лом решили его сдать! Слышишь, Эло? На лом!

Шагает Татэ, опустив голову, а за ним, постукивая каблучками парадных туфель, торопливо семенит Эло. Никогда Эло не перечила мужу, не станет перечить и сейчас.

На втором пути стоял длинный наливной состав. По третьему и четвертому путям почти бесшумно скользили маневровые электровозы.

— Гляди, Эло, какая чистота, какая тишина! Вот что значит техника, а помнишь, раньше-то, а!? Эх, жаль только, стареем мы, никому не нужны...

— Кому это ты не нужен, чего мелешь! — возмутилась Эло. — Мириану ты, по-твоему, не нужен? Ох, до чего я дожила, несчастная, мальчик истаял весь, исстрадался...

— Для работы я не гожусь, дурная... Стар, говорят, стал, понимаешь... — с горечью продолжал Татэ. — Мой дуплекс — на лом, меня — из депо вон!.. Так-то...

Вот и тупик. Татэ сразу нашел свой изъеденный временем и ржавчиной паровоз. Взобрался по лесенке наверх, обошел смотровой мостик.

Внутри, в паровозе, было темно, сыро, пусто.

Татэ чиркнул спичкой.

Неверный желтоватый свет озарил тормоз, реверс, регулятор, топку... И фотографию Эло на передней стенке, перед местом машиниста.

Много-много лет висит здесь эта фотография. Пожелтела, края потрескались, обтрепались... А глаза Эло на ней — сверкающие, живые, какие были тогда... Глаза шестнадцатилетней девушки... Ровно неделю спустя после того дня, как она сфотографировалась, Татэ угнали в Сибирь. Господи, сколько воды утекло с тех пор!.. Татэ поглаживал фотографию сухими узловатыми пальцами и бормотал что-то под нос. Хотел снять ее, да передумал.

Он долго осматривал управление паровоза. Спички, догорая, обжигали ему пальцы, слезы туманили глаза. Он прощался с каждым уголком. Подергал ручку свистка — хотя и знал, что погасший паровоз безмолвен. И вдруг, как бы в ответ Татэ, загудел где-то неподалеку электровоз. Татэ выглянул в окно: со второго пути, тихонько пошипывая, мягко отошел электровоз, увлекая за собой длинный хвост цистерн.

Потом прошел двести шестьдесят четвертый, Тбилиси — Сочи. Освещенные окна вагонов подмигивали старому паровозу, лаская его своими лучами...

Татэ стоял неподвижно. Вот и последний вагон.

«Хорошую скорость взял... Эх, посмотрели бы теперь мистер Белоус и синьор Спиноччио, каких специалистов мы вырастили... Какие у нас машины!..»

Но свой старый дуплекс Татэ Хмаладзе любил особой любовью. Дуплекс был его молодостью, и сам он не мог разобраться, любил он этот ветхий паровозик или воспоминание о тех безрадостных, тяжелых и все-таки светлых — молодых! — годах.

Он сошел с паровоза. Эло стояла внизу, дожидаясь его.

— Никому теперь он не нужен, — с горечью проговорил он и, помолчав, добавил совсем тихо: — Я тоже не нужен.

— Вот затвердил! — рассердилась Эло. — Ты не слышал, что тебе начальник дело Кобидзе?.. А как поздравлял тебя начальник тата Хмаладзе, говорит, корень, основа Хашурского депо... Чего тебе еще надо? — Много ты понимаешь! — прервал ее Татэ. — На черта мне поздравления? Я машинист... Былыми заслугами кормиться? А сейчас чего мне делать?

Он нагнулся, стал осматривать колесные пары. Постучал камнем, заглянул в подшипники. «Смазать надо, а то заржавеют». Глянул на рельсы и вдруг обнаружил тормозные башмаки. Их заботливо подложили под колесные пары — спереди и сзади. От давешних дождей они поржавели, и паровоз теперь был точно в кандалы закован.

— Что это они сделали?! — вскричал Татэ. Он обежал паровоз кругом. Тормозные башмаки подложены были под первую и восьмую колесные пары

— Куда бы он, бедняга, убежал, — прошептал Татэ. — Зачем было его привязывать. — Потом он усмехнулся вдруг лукаво и обратился к жене: — Видишь, стар-то он стар, а они все же боятся, как бы он не сбежал, хе-хе-хе...

Радуюсь чему-то, не вполне понятному ему самому, он тихо засмеялся. Потом лицо его снова помрачнело, и он строго сказал Эло:

— Ну-ка, ступай на ту сторону, — башмаки надо вынуть.

— Что ты говоришь, Татэ! — изумилась Эло.

— А зачем его привязали? Перед смертью привязали?! — вскричал Татэ.

— Будто ты сам не знаешь, — мягко сказала Эло, дотронувшись рукой до его плеча. — Разве кто-нибудь оставит угасший паровоз без башмаков? А вдруг он покатится по рельсам и наделает беды на старости лет? Что ты тогда скажешь?

— Ты всегда любила языком трепать! — отмахнулся от нее Татэ. — Сейчас же принимайся за дело!

Эло никогда не любила трепать языком, но она молча приняла это обвинение и пошла по ту сторону паровоза.

— Без лома с ними, проклятыми, не справиться! — заявила она вскоре.

— Не кляни ты его! — испугался Татэ.

Долго и безуспешно они трудились. Пот в три ручья лил с Татэ, и Эло знала, что все это зря, но не смела ничего сказать.

Наконец она набралась духу, подошла к мужу, поглядела на него с минуты, и по ее увядшей щеке скатилась слеза.

— Ты совсем взмок, Татэ, — сказала она и провела рукой по его плечам.

В это время кто-то прошел по платформе, видимо, возвращаясь с банкета, и низким, с хрипотцей, голосом запел старинную песенку:

...Стар я, стар,  
Но пощади, не убивай,  
Свою ты душу злу не предавай...

«Нет, этого не позволю на помощь...» — подумал Татэ. Он уже ободрал руки до крови, а башмаки все не двигались с места. Эло уселась на путях.

— Ты чего расселась? — возмутился Татэ.

Эло встала, подошла к нему, обняла за плечи.

— Татэ, зачем ты зря убиваешься... Ничего не выйдет, ты ведь знаешь... Пойдем домой, поздно...

— Ни за что! На лом я его не отдам! Подождите вы, я чего-нибудь да придумаю! — пригрозил он кому-то.

И так ему горько стало. «Вот, хвалят меня, возносят, а я — что я? Башмаки тормозные не сумел вынуть. Значит, вправду постарел? Значит, пора оружие складывать?..»

Он медленно поднялся во весь рост. Постоял, постоял, потом вздохнул, вскинул голову, приосанился и зашагал по шпалам, прочь из тупика.

Шел он быстро. Эло чуть не бежала за ним и все равно не поспевала. Запыхавшись, она крикнула, чтоб помедленнее шел.

— Чего это ты, только из ходунка вылезла? — огрызнулся Татэ, не убавляя шага.

Шел он по полотну и вспоминал, сколько бегал он по этим вот шпалам, бегал голодный, бездомный, забитый...

Хашури тогда называлось Михайлово. Влево от маленькой станции стоял двухэтажный крашеный когда-то темно-голубой краской дом. В одной из комнат первого этажа этого дома жил помощник машиниста Гогиа Хмаладзе. Не

было у Гогиа ни жены, ни детей, а воспитывал он племянника своего, мальчонку-сироту Татэ.

За домом находилось паровозное депо.

К окнам дома льнуло корявое прокопченное дерево с чахлой листвой, которое в дождь плакало черными слезами. На этом дереве, высоко над землей, десятилетний Татэ устроил себе своего рода наблюдательный пункт, прикрепив к стволу его сплетенное из прутьев сидение. Дядя уходил на работу, а Татэ забирался на дерево, усаживался в свое кресло и часами наблюдал за окрестностью. Отсюда открывался чудесный вид на станцию, где на путях сопели и шипели дуплексы с затейливыми дымовыми трубами, которые увенчивались чем-то вроде огромного деревянного подноса. Маленькие феде лофыркивали, точно обижаясь, что им не доверяют водить большие составы. Грузные, неуклюжие германки никак не могли заполнить водой свои ненасытные утробы-котлы. Татэ смотрел и насмотреться не мог на эти чудесные машины, на ряды выстроенных за ними зеленых вагонов, по которым растекалась толпа светлых, крикливых, вечно спешащих пассажиров. Каждый из них старался оказаться первым, и все они, яростно тесня и толкая друг друга, создавали невообразимую давку и сутолоку, не сознавая, что мешают сами себе.

Татэ с неизменным интересом наблюдал за всей этой кутерьмой и про себя увещевал пассажиров: «Не спешите, ведь «крикун» еще не вышел на платформу!».

Татэ в точности знал, что за чем следует на станции. Он знал — сперва на пути выстроятся в ряд вагоны, потом из депо выбежит либо дуплекс со своей трубой-подносом, либо германка, потом паровоз найдет свой состав, потом его прицепят к составу, и только тогда можно ожидать появления «крикуна». Наконец он выходил, «крикун» Ефим Попрядухин, высокий, худощавый мужчина с седой окладистой бородой. На голове — форменная фуражка с красным околышем, в руке — короткая палка. Вид у него был строгий, неприступный. Прежде чем прокричать отход поезда, он покровительственным взором окидывал рассеянную по платформе толпу, затем внимательно оглядывал весь состав и, удостоверившись, что все на местах, все в порядке, поднимал руку. Шум и гвалт на платформе стихали, и тут раздавался громовой голос Попрядухина:

— Господа пассажиры! Поезд номер шестьдесят два Михайлово — Зестафони через две минуты отойдет с первого пути!

Голос «крикуна» гремел не только по платформе — его слышно было и в соседней с Михайловом деревеньке Оснаури. А жители еще более отдаленного хуторка Цхрамухи говорили, что, когда ветер в их сторону дует, им тоже слышно Попрядухина.

Вконец ошалевшие пассажиры врываются в вагоны, позабыв и о провожающих, и о словах прощания.

Но подлинный трепет наводила на пассажиров массивная фигура жандарма со странным прозвищем «Упекун». Обыкновенно он с утра до ночи околачивался на станции. Толстый, с сизым от беспробудного пьянства носом, жандарм понимал грузинскую речь, но сам, хоть и прожил в Грузии долгие годы, по-грузински двух слов не мог связать. Единственное, что он говорил, было — «упеку в Сибирь». Эти два слова он кричал всем по любому поводу, вследствие чего подлинное имя жандарма все давным-давно позабыли и называли его в глаза и за глаза «Упекун».

Попрядухин, возгласив отход поезда, уходил с перрона. И еще долго после того большой медный колокол, висевший на стене станции, гулко вторил его голосу.

Затем появлялся дежурный по станции и ударял в этот колокол. Колокол отчаянно гудел, дежурный передавал машинисту жезл, паровоз пронзительно свистел и с шипением и грохотом двигался с места.

В Михайлово никто точно не знал, сколько лет Ефим Попрядухин, благодаря своему неповторимому по мощности и густоте голосу, работал на станции «крикуном». Зато совершенно точно знали то, что, пока не появится Ефим Попрядухин и не объявит отход, ни один поезд не сдвинется с места.

Сидел Татэ на своем дереве, по десять раз на дню слышал неизменное «Господа пассажиры...» и провожал и встречал каждого, кого привозил или увозил поезд...

А ночами — майскими, прозрачными, лунными, или декабрьскими, стылыми, долгими, — Татэ будили свистки паровозов. И звали они его. И рвалось сердце из груди и уносилось вслед за черными от дыма и сажи германками, дуплексами, феде...

За прокопченными стенами депо всегда стояла такая удивительная тишина, царил такой бездонный покой, такие мирные вечера опускались на пологие склоны холмов, что, казалось, даже нужно, даже необходимо вторжение поезда.



взрывающего эту тишь. Он проносился с ревом и грохотом по рельсам, и потом в ушах долго отдавалось — «так-тук-так... тук-тук-так...».

Выбегали из депо черные от сажи паровозы, увозили в Зестафони вереницы зелененьких вагонов и возвращали их обратно то поздней ночью, то в вечерней зарей, то на рассвете следующего дня...

Мчал свой феле шустрый, подвижный, как ртуть, Пауль Берг. На германке работал степенный седоусый Степан Серебряков. А на дуплексе Гогии Хмаладзе машинистом был крижистый, крепкий, как кремь, Глеб Дьячков. Его величество император не велел доверять «туземцам окраинных губерний» вождение составов; машинистами, как правило, были немцы, поляки, русские... Машинисты, занятые невеселыми мыслями о тяжком своем ремесле, недоступные для праздных бесед и разговоров, ходили всегда с маленькими жестяными чемоданчиками, в которых носили, вероятно, еду, а может быть — какие-то свои инструменты.

Татэ рос среди этих людей и любил их. И не было на станции Михайлово человека, который бы не знал черноглазого щуплого подростка со следами сажи и мазута на лице и худых руках. Знали его не только потому, что был он приемным сыном Гогии Хмаладзе, но больше потому, что он постоянно вертелся возле паровозов, на путях, на платформе...

В той маленькой комнатухе, которая служила дяде и племяннику в основном ночлегом, часто укрывались от непогоды пассажиры в ожидании своего поезда. Двери дома Гогии Хмаладзе были всегда широко для них открыты. А они, в свою очередь, стремились согреть мальчика, лишенного материнской заботы и ласки, кто — гостинцем, кто — теплым словом.

— ...Ты чего, заснула? — очнувшись от своих мыслей, сердито окликнул Татэ жену и сам будто спросонья огляделся по сторонам.

— Я-то не заснула, а ты вот целых полчаса стоишь на месте, как обалдуй, — возмутилась Эло. — Какой бес связал тебе ноги, до дому два шага, а никак дойти не можешь.

— Мысли разные одолели... — смяк Татэ.

— Видишь, до чего непорядок доводит: в это время ты, небось, десятый сон видишь, а сегодня...

— Ладно, ладно, замолчи...

— Разве ж я не молчу!..

Когда Татэ вошел в комнату, он чувствовал себя совершенно разбитым.

— Кто только выдумал этот юбилей! — бормотал он, расшнуровывая ботинки.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Рабочая «электричка» стояла на станции Лихи. Путьцы проворно поднимались в вагон и занимали свои места. Быстры и четки были их движения, когда они раскладывали на полу рабочие инструменты. Такие движения свойственны лишь мастеровому человеку.

На платформе Тэзери в вагон поднялись дорожный мастер со своей бригадой. Они должны были осмотреть участок ниже Лихи. Путьцы разойдутся по своим участкам, а ко времени, когда электричка пойдет из Зестафони обратно в Хацури, они закончат свои дела и поезд будет собирать их по пути, чтобы повезти домой.

В вагоне — сизый табачный дым. От рабочих попахивает водочкой — многие с утра «заряжаются» маленькой стопочкой. А вон тот молодой парень, видать, хватил лишнего: колотя себя в грудь, с жаром доказывает он дорожному мастеру Котэ Канчавели:

— Знаешь ведь, если не проверять пути каждый день, поезд сойдет с рельс и — к чертовой матери!..

— Чего ты мне толкуешь, думаешь, я этого не знаю? — посмеиваясь, отвечает Котэ, выбивая о колено свою замызганную кепку.

— А потому толкую, чтобы ты на собрании рот открыл. Миллиметр и — крышка, крушение! Чувешь, какой глазомер нужно иметь, чтобы этот проклятый миллиметр заметить? Разве мне не полагается благодарность за бдительность, а ?..

Поезд тронулся. Татэ стоял у окна и глядел на низину. На бывшем здесь некогда военном аэродроме сейчас зеленели колхозные виноградники. Дружно принялись и горийские «мцванэ», и «дзвелшави».

Село Квишхети, рассыпанное по отлогому склону горы, скрывалось за легкой дымкой тумана. А ниже, на виноградники, щедро лились жаркие лучи утреннего солнца.

Электричка набирала скорость. Вот уже справа показались мчедлишвилевские выселки. Татэ оглянулся, поискал глазами дорожного мастера Мчедлишвили, подошел и сел с ним рядом. Ему не хотелось, да и неловко было спрашивать о Мириане напрямик, он решил повести речь издалека — ведь может статься, именно ему, Мчедлишвили, доверил Мириан свою тайну. А Татэ давно положил себе за правило никогда ничего не делать с бухты-баракхты.

Однако вот уже впереди показалась арка тоннеля с такими знакомыми цифрами посередине: «1886—1890». Еще несколько минут — и глуше стал грохот поезда, передние вагоны вошли в тоннель. Стало темно, замелькали неяркие лампочки, горящие по обеим стенам тоннеля на равном расстоянии друг от друга. В спущенное окно врывался прохладный ветер.

Кто сочтет, сколько раз Татэ проезжал через этот тоннель! Когда бывало ветренно, паровозный дым относило в сторону, и у Татэ только лицо покрывалось сажей. Но в тихие безветренные дни Татэ задыхался от дыма. На станции Лихи они с помощником обычно запасались мокрыми полотенцами и, едва дуплекс входил в тоннель, закутывали этими полотенцами голову, шею, лицо так, что видны были только глаза. И дым разбедал им глаза, и они поочередно зажимуривали то один глаз, то другой. Сколько паровозов проходило ежедневно через тоннель! Он, как губка водой, пропитан был дымом, копотью, сажей... Давно это было...

А теперь все окна вагонов открыты, в них проникает чистый — без дыма — воздух. Электричка мерно движется вперед. Но дважды она притормозила, останавливаясь. Татэ выглянул в окно — рабочие укладывали бетонные шпалы для второго пути.

«Скоро поезда будут ходить по расписанию... Опоздание станет диковиной, — подумал Татэ. — Но пока придется терпеть эти «окна». Кто, интересно, назвал перерывы в движении «окнами»? Э-э, хватит мне о пустяках размышлять, — оборвал он сам себя, — лучше спрошу Тарасия Мчедлишвили насчет Мириана, а то вот проедем тоннель, и сойдет он в Ципа».

А путейцы все спорили о чем-то, спорили горячо, с жаром.

— Нет, ты не понимаешь! — говорил Тарасий Мчедлишвили. — Пройдет время, и сама жизнь тебя убедит...

Татэ вздрогнул, услышав эти слова.

«Удивительно это бывает, — подумал он, — какое-то слово, кем-то оброненное, подчас и невзначай, вдруг вернет тебя туда, откуда ты ушел давным давно, и пережитое и, казалось бы, позабытое переживаешь вновь... и это невзначай услышанное слово оказывается тем самым, которое ты слышал когда-то совсем в иной обстановке... Ведь то, что Тарасий сказал этому парню сейчас, когда-то сказали мне... Разве не вчера это было?.. Неужто прошло с тех пор пятьдесят лет? Но что такое пятьдесят лет?.. Мгновенье...»

...Железнодорожное депо гудело. Ученики и начальники цехов, мастера и подмастерья — все были охвачены тревожным волнением, все ожидали чего-то — хотя мало кто мог ясно осознать, чего.

Машинисты привозили вести о волнующих событиях в России. Забастовка!.. Расстрел рабочих... Демонстрация... Здесь, в Грузии, тоже стало беспокойно: на поездах расклеивали прокламации, по вагонам разбрасывали листовки... Из Зестафони и Самтредиа — в Поты, оттуда — в Новороссийск и Одессу медленно, но верно протягивались нити между одинаково мыслящими людьми в маленькой Грузии и в большой России.

Рабочие совещались между собой, выступали против администрации. В Осиаури по ночам устраивались тайные сходки рабочих. Татэ был с ними, хотя и знал, что может потерять работу.

В один прекрасный день забастовал цех, в котором работал Татэ. К бастующим присоединились и другие цеха. Не вышли на линию и машинисты. Однако бригада слесарей ремонтировала котел дуплекса. Этот самый дуплекс через два дня должен был повезти военный эшелон из Тбилиси. Начальник депо пообещал всем двойную плату за работу.

Ремонт закончили в один день. В паровозной топке запылало пламя, и дуплекс медленно выкатился из депо. Но едва он вышел на линию, раздался оглушительный взрыв, взметнулся фонтан кипятка, вокруг полетели осколки металла.

Станцию оцепили жандармы. Командовал ими «Упекун». Он отдал приказ арестовать всю бригаду слесарей вкупе с теми, кто был замечен или заподозрен в неблагонадежности.

Спустя неделю, когда Татэ обнаружил в группе заключенных, отправляемых по этапу из Метехской тюрьмы в Сибирь, одного из главарей забастовки Петра Ломова, он подошел к нему и сказал:

— Что ж, Петр, видать, одна у нас с тобой дорога.

— Одна, и притом длинная, Татэ, — проговорил Ломов и закашлялся. Кашлял он долго, надсадно, глаза у него налились кровью. Наконец, кашель унялся, и, еле-еле отдышавшись, Петр посмотрел Татэ в глаза и попытался улыбнуться.

— Сколько таких дорог было у тебя в жизни?.. — проговорил Татэ раздумчиво.

— А кто их считал? Важно не изменять своим товарищам. Пройдет время, и жизнь убедит тебя...

Татэ сослали на золотые прииски в Бодайбо. Ссылные жили в длинном, темном бараке, где вместо окон в стенах были продырявлены отверстия. Через эти отверстия в барак проникали воздух и свет. Четырехъярусные нары, грубо сколоченные из сырых досок, при каждом движении сидящих и лежащих на них людей, оглушительно скрипели.

Ломов устроился рядом с Татэ. Этот человек с изъеденными туберкулезом легкими не только сам не падал духом, но еще и подбадривал товарищей.

— Чего приуныли, ребята! Доля наша тяжкая, да в том-то и дело, чтобы не упасть, не сломиться под ее тяжестью, — говорил он. — Лучше на воздух выйти, походить, кровь разогнать, и то легче станет.

— Куда в этакый мороз! На месте застынешь! — возразил ему как-то один из ссыльных.

— Ты, Мышонок, не только в мороз, а и на печи с бабой застынешь, — обрезал его Петр.

Сам он часто выходил на воздух «поразмяться», как он говорил, а на деле — выходил кашлять: не хотел, чтобы видели, как он мучится.

Ссылный, которого Петр назвал Мышонком, имел препаршивый нрав. Хлипкий, верткий, с быстрыми глазками-буравчиками, он постоянно ворчал, брюзжал, затевал ссоры и драки с товарищами. Еще имел он манеру забираться в соседний барак — женский. Пробрется тайком и незаметно уляжется с кем-нибудь рядышком. Однако успехом он там не пользовался — как правило, его выгоняли оттуда несолоно хлебавши, да еще с зуботычинами и пинками. Особенно невыносим бывал он пьяный. Трусливый по натуре, спяна, как заяц во хмелю, он лез на рожон, задирали всех. Единственный, кого он побаивался и в пьяном виде, это был Ломов.

Татэ не знал, где Мышонок добывал водку. Но как только смеркалось, Мышонок со своими дружками, нахлеставшись всласть, усаживался играть в кости. Проигрывая, Мышонок закатывал дикий скандал, вопил, валился на пол и в заключение начинал тоненько, по-бабьи плакать. За эти номера ему здорово доставалось от партнеров.

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ

Продолжение следует

## ВСЯ ЖИЗНЬ...

ПОВЕСТЬ

### СЛЕДОВАТЕЛЬ И ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ

Молодой, безусый и безбровый солдатик повел Ладо темным коридором.

— Откуда родом, братец? — спросил, не оборачиваясь, Ладо.

— Запрещено с вами разговаривать.

— От того, что я скажу тебе «здравствуй», беды не будет.

— Будет. Услышат, на губу посадят.

— А ты так, чтоб не слышали. Думал когда-нибудь, за что людей в тюрьме держат?

— Против царя идете.

— Раз против царя, значит — за народ. Верно?

— Поменьше бы вас, радетелей, и нам послабление было бы.

Сколько раз уже приходилось слышать эти слова. Царь-батюшка и его министры заботятся о народе, те, кто против царя, мешают ему проявлять заботу, поменьше бы радетелей о народе, легче бы народу стало. Простая и надежная система. Но она изживет себя, подобно тому, как снашивается от долгой носки рубаха. Сколько ее ни латай, а пятна становятся темнее, дыры больше.

— Вы не обижайтесь, — вполголоса сказал конвоир, — служба заставляет рычать, как цепную собаку. Вообще-то я думаю, и вы, господин, и мы — те, кто вас водит под винтарем, в одной упряжке ходим.

Ладо повернулся.

— Вот это верно. Так откуда ты родом?

— Сибиряк.

— Может, и придется попасть на твою родину.

— К нам много образованных господ высылают. Трудно им, конечно, в нашем крае, но все же живут. Давайте помолчим теперь.

Конвоир подвел Ладо к знакомой двери. Кто сегодня будет допрашивать — двое или один Рунич?

В комнате за столом сидел ротмистр.

— Здравствуйте, господин Кецховели, — мрачно произнес он. — Садитесь.

Ладо сел.

— Господин ротмистр. Прежде чем вы начнете, объясните, почему, несмотря на ваше обещание, мне не передали книги, которые я просил? «Капитал», «Историю французской революции»?

— Не разрешено его высокопревосходительством генералом Дебилем, — сказал Рунич, — ввиду специального подбора книг, направление которых совпадает с вашими политическими взглядами.

— Бойтесь, что чтение этих книг укрепит меня в моих взглядах? Трогательная забота. Ну, а Шекспира и Гейне почему не разрешили?

— Не знаю. Выясню. Получите своих Гейне и Шекспира, — проворчал Рунич. — Что ж, начнем.

Он начал спрашивать, но без азарта, с которым вел допросы раньше.

Рунич уже уверился, что Кецховели, который все известное жандармам брал на себя и никого из пособников не назвал, на этот раз тоже не проговорится. На последней беседе с генералом Дебилем Руничу было сказано, что результатами следствия начальство недовольно и что, независимо от того, в чем Кецховели будет уличен, дело его необходимо всячески раздуть. Нужно, чтобы все это было подкреплено должными фактами и необходимыми следствию выводами. Рунича покорибило. Конечно, он сделает требуемые начальством выводы, но сочинять факты?! Все-таки он привык работать с профессиональной основательностью.

У Рунича снова появилось ощущение неудачи. Все было за то, что на деле Кецховели он вряд ли пожнет лавры. И вдобавок, чем чаще он виделся с Кецховели, тем большее впечатление производил на него этот человек, особенно своей откровенностью в том, что не относилось к делу.

Рунич приказал, чтобы ему сообщили о поведении Кецховели, и он знал, что его подсудимый бывает и ровным, и подавленным, и веселым безо всяких явных внешних причин. Кецховели часто пел, по утрам он кричал жаворонком и

звал по именам заключенных, устраивал нечто вроде утренней переключки, иногда переговаривался с горожанами через Куру, наконец, он рисовал в тетради и на стенах шаржи, в том числе и на самого Рунича. Разговоры Кецховели подслушивались, но они были совершенно безобидными, и ничего нового следствию не дали. Конечно, как и все заключенные, Кецховели по ночам перестукивался с другими арестантами, но бестолковые надзиратели так и не сумели ничего узнать.

Пора уже было дело закруглять, но Рунич тянул, надеясь, что ему все же удастся найти у Кецховели ахиллесову пяту, тянул по какой-то не ясной ему самому причине. Хитрить с ним Рунич перестал, потому что боялся снова попасть в смешное положение, но отказаться от привычной системы следствия он тоже не мог, хотя не раз замечал насмешливую улыбку в глазах подследственного, из-за чего раздражался, выходил из себя, а потом жалел об этом.

Посмотрев в лицо Кецховели, он сказал:

— Такое впечатление, будто вы рады встрече со мной. Улыбаетесь...

— Все-таки разнообразие после одиночества и беготни крыс.

— Гм...

Задавая вопросы и записывая ответы, Рунич думал о том, каким образом Кецховели оказывает такое сильное влияние на всех арестантов, даже на уголовников. Смотритель тюремного замка Милов пожаловался Руничу: порядок в тюрьме зависит не от начальства, а от Кецховели. «Перевели бы вы его, ваше высокоблагородие, в военную тюрьму...» При всей смехотворности жалоб Милова, понять его можно было. Милов, чтобы прекратить разговоры заключенных, распорядился забить окна щитами. Кецховели передал через надзирателя, чтобы щиты сняли. Милов, разумеется, своего приказа не отменил. На другой день в тюрьме начался бунт — арестанты кричали, разбивали стекла табуретками, не впускали надзирателей в камеры. Шум был такой, что вокруг замка собралась толпа горожан. Начались разговоры об истязаниях арестантов. Милова пригласили к губернатору, и тот распорядился, чтобы щиты с окон сняли.

Рунич был уверен, что если бы протест был высказан кем-либо другим из арестантов, тюрьма его не поддержала бы, а вот Кецховели послушались все, и это было совершенно необъяснимо, особенно трудно такое понять, когда видишь перед собой спокойного, с задумчивыми глазами человека, ничем не напоминающего грозного вожака, властного атамана бунтовщиков.

Рунича иногда тянуло вернуться к их первому разговору, к тому, почему Кецховели спросил его, не участвовал ли он в карательной экспедиции. Кецховели не мог — в этом Рунич был уверен — видеть или знать о том, как он бил конем мальчишку, но само совпадение вопроса Кецховели и воспоминания о том незначительном случае вызывало неприятную настроенность. Всякий раз, когда он допрашивал Кецховели или докладывал о нем Дебилю, или просто вспоминал его, в памяти возникал тот проклятый мальчишка.

— Значит, вы подтверждаете, что вами лично было доставлено в Баку около шести пудов нелегальной литературы? — спросил он и, не дожидаясь ответа, вписал в протокол: «Подтверждаю».

— Да, — сказал Кецховели.

Отношения с Амалией у Рунича складывались непривычно, как с никакой другой женщиной. У нее Рунич теперь почти не бывал. Чаще она приезжала к нему, а няньке говорила, что ночует у родственников. Разгильдяй Гришка, всегда фыркавший по поводу мамзелей, которых приводил к себе Рунич, при виде Амалии расплывался в улыбку. Амалия, как и раньше, мало говорила, но слова ее или замечания были искренними. Несколько раз Рунич поймал себя на том, что любит ее, а на прошлой неделе, он поцеловал ее с нежностью, которой никогда в себе не замечал. Расслаб и разнюнился, с досадой тут же подумал он и принялся издеваться над ней, постепенно ожесточаясь. Она разрыдалась. Он успокоился, стал утешать ее и заснул. Проснулся от пристального взгляда и увидел, что она сидит и смотрит на него какими-то странными глазами. Так может смотреть на взрослого очень обиженный ребенок, не знающий, чем ответить на обиду. Он приказал, чтобы она легла и спала. На другой день, вспомнив глаза Амалии, он почувствовал что-то вроде стыда и раскаяния.

Рунич посмотрел на Кецховели.

— Где находится тайная типография?

— Я спрятал ее в надежном месте.

— Где именно?

— Отказываюсь отвечать.

— Бывали ли вы за границей, а именно в Швейцарии, Франции, Бельгии и Германии?

— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, — ответил Ладо и внимательно посмотрел на Рунича. Он чем-то примечателен, в нем заметно внутреннее беспокойство, совершенно отсутствующее у Милова или товарища прокурора. В ос-

тально он такой же, как они, так же не понимает, что государство разваливается, что задерживать, приостановить этот процесс невозможно, что, лишая людей свободы, заключая их в тюрьмы, наказывая и убивая, жандармы сами ускоряют разложение режима, которому служат, потому что чем ревностнее они служат государству, тем сильнее становится недовольство.

— Так-с, — сказал Рунич. — И последний вопрос, тоже для вас не новый. Даю слово, что ни вопрос, ни ответ ваш я не занесу в протокол. Почему все-таки вы отдались в руки бакинской жандармерии?

Непонятно было, какого скрытого смысла доискивался ротмистр в поступке Ладо, почему его именно так это занимает и беспокоит.

— Я много раз уже объяснял, что хотел уберечь людей, не имеющих отношения к созданной мной одним типографии, — устало ответил Ладо, — они не должны отвечать за меня.

Черт его знает почему, но Рунич вдруг поверил. Отодвинув от себя листы протокола, он откинулся на спинку стула. Подумав, удивился еще более.

— Неужели вы предполагали, что, заполоучив вас, Порошин отпустит на свободу Виктора Бакрадзе, не арестует Енукидзе и других господ?

— Да, — подтвердил Ладо.

«Господи, — поразился Рунич, — он думает о Дебиле, Лаврове, Порошине и Вальтере лучше, чем думаю о них я, чем каждый из них думает о других и обо мне».

— Скажите, господин Кецховели, — спросил Рунич, — а что вы думаете обо мне?

— О вас? В каком смысле?

— Будь я тогда в Баку на месте Вальтера и Порошина, отпустил бы я Бакрадзе?

Ладо снова недоумевающе посмотрел на ротмистра.

— Я думаю, что не отпустили бы, хотя потом, возможно, пожалели бы об этом. Разве вам не приходилось жалеть о своих поступках?

Неужели он в самом деле знает о мальчишке? Рунич ощутил страх, подобный тому, который возник у него в детстве. Он разбил вазу — память о матери и, боясь порки, не признался отцу. Нянька, перед тем как уложить его в кроватку, подвела к киоте, показала на большую икону и зашептала: «Он все видит, все знает, скажи правду». Рунич поверил няньке, признался отцу и был за это прощен. Он, кажется, переутомился, если от слов арестанта ему становится не по себе. Нет, нет, не может быть, чтобы Кецховели узнал о том случае.

Рунич сухо засмеялся.

— Мне еще не приходилось жалеть о содеянном, надеюсь, и в будущем не придется. Я верно служу отечеству.

— Но есть ведь и собственная совесть, — сказал Ладо, — хотя в вашем уставе о ней ничего не говорится, равно как и в присяге.

— Вижу, что роль проповедника, вернее, оракула, пришлась вам по душе.

— Вы задали вопрос, не имеющий отношения к моему делу, я ответил, как думаю, и только. Я знаю...

— Что знаете? Что вы знаете? Можете не отвечать, я не то хотел спросить. — Рунич стал кусать губы. — Скажите, а вы сами совершали что-либо такое, о чем, хотя это не сказано в вашем революционном уставе, вы жалеете с позиций собственной совести?

— Я человек, как и все. Только мой взгляд на совесть, как мне кажется, расходится с вашим.

Надо было прекращать этот противостественный разговор. Рунич кашлянул.

— Вечно вы сбиваете меня, уводите в сторону от дела. Вот подпишите...

— Я сбиваю?

Ладо внимательно посмотрел на Рунича — непонятно, почему он так нервничает. Не читая, Ладо расписался на каждой странице.

Рунич насторожился.

— Вы не прочитали протокол и расписались. А вдруг там ошибки, неточности, вдруг я записал с намерением исказить факты?

Ладо сдержанно улыбнулся, потом его прорвало и он расхохотался.

— Господин ротмистр, да что это с вами? Я ведь знаком с типографским делом. Я читал по мере того, как вы записывали.

Рунич резко встал и позвонил в колокольчик. Дверь открылась. На пороге появился конвоир.

— Уведите арестанта, — приказал Рунич. — До свидания, господин Кецховели.

Ладо поднялся и вышел из комнаты. Солдат зашагал за ним, осторожно прикрыв дверь.

Рунич сложил протокол в папку и направился к смотрителю тюрьмы Мидову.  
— Ну как, ваше высокоблагородие, — спросил Милов, — скоро вы закончите следствие?

— Следствие закончено. Я передаю дознание прокурору судебной палаты. Разве что появятся какие-либо новые материалы. А вы все жаждете скорей бавиться от Кецховели?

— Еще бы, — Милов вздохнул.

— По должности вашей, — сердито сказал Рунич, — вы обязаны быть более строгим. Почему вы не применяете к нему дисциплинарные взыскания — лишение пищи, постели, темный карцер, наконец?

— Имею печальный опыт.

— Я, на вашем месте, нашел бы вполне законные причины для наказания, — сказал Рунич, с пренебрежением поглядывая на Милова. — Скажите ему что-либо такое... словом, выведите из себя и...

Рунич звякнул шпорами и вышел. На душе у него было мутно. Ничего больше сейчас так не претило ему, как поездка в управление и в судебную палату. Противно было видеть Дебиля, прокурора, вообще заниматься служебными делами.

## КАМЕРА-ОДИНОЧКА

За окном сразу стемнело. Лишь над горой Давида небо оставалось прозрачно-синим. Цвета, как голоса, бывают веселыми, сердитыми, тоскливыми, энергичными и равнодушными. Синева над горой была длительно печальной.

Где-то внизу заиграла шарманка. Мужские голоса, приближаясь, пели, то сливаясь, то распадаясь на три, но не теряя связи, и можно было угадать, что певцам радостно петь, и каждый доволен тем, как слаженно поют другие.

Ладо встал у окна и увидел огоньки факелов и неровный, пляшущий огонь между ними. По Куре двигался плот. Песня утихла, Ладо угадал на плоту мужчин, которые при свете костра наполняли вином из бурдюка стаканы, и протяжно крикнул:

— Здравствуйте, люди-и!

— Здравствуй, — отозвался снизу звонкий высокий голос. — Кто ты?

— Арестант.

— Свободы тебе-е-е! — согласно закричали несколько голосов.

Плот ушел под мост, и свет факелов и костра пропал. Снова, теперь левее, заиграла, отдаляясь, шарманка.

С другого берега донесся звонок конки. Кондукторам и кучерам после памятной забастовки все же сократили рабочий день и прибавили жалование. Прибавка была грошовой, на нее разве что можно было купить еще фунт хлеба.

Снизу из окна тянуло влажной прохладой, а поверху еще гуляли остатки сухого дневного зноя. Ладо посмотрел на желтые дрожащие огоньки города, отошел и лег на койку, укрывшись от сырости одеялом. Одеяло прислали из дому, и от него пахло далеким детством. Одиночество в последние дни стало острее. Арестантов из секретного отделения куда-то перевели, перестукиваться было не с кем. На допросы к Руничу его уже давно не вызывали, на прогулки тоже перестали выводить, и кажется, что все о нем забыли. Тюремная типография из-за церковных праздников не работает несколько дней, и нельзя спустить на нитке письмо или получить записку. Все-таки очень повезло, что типография находится прямо под его камерой. Он опускает нитку — частенько днем, не скрываясь, определив по звуку шагов, что часовой отошел, арестант-наборщик привязывает к нитке записку, и почта через минуту в камере. Записок присылают все больше и больше, и уже не только от политических, а и уголовников, все спрашивают об одном — как жить? Ни одну записку он старается не оставить без ответа, каждому пишет все то, что думает. На прошлой неделе часовой заметил опущенную из окна нитку и закричал. Уговорить его умолкнуть и отвернуться оказалось легко. Досадно, что солдат так часто меняют. И повезло, что этот был таким податливым — поднятая нитка принесла письмо от брата Сандро. Он писал, что жандармы наведываются в деревню с обысками, следят за старшим братом Нико, когда он куда-нибудь выезжает. Соседи-дворяне ведут себя по-разному. Одни перестали здороваться с Нико и даже не ходят на богослужение в церковь, чтобы не слушать, как служит службу отец политического преступника, другие теперь чаще заходят к отцу, даже предложили ему денежную помощь, от которой он наотрез отказался. Крестьяне обещают в день возвращения Ладо устроить пир на все село.

Ладо припомнил свои редкие ночные наезды домой. Если мальш-племянник спал, оставалось только полюбоваться тем, как он спит, крепко сжимая во сне

кулачки. А если он еще бегал по комнате, его можно было подбросить к потолку и поцеловать в загорелые щеки. — Как дела, богатырь? — Малыш косился на отца и спрашивал у Ладо: — А ты кто? — Ах ты, собачий сын, дядю не узнаешь!

Нико стал домовит, он занят своим питомником, обучает европейскому доводству крестьян, но дела его пока идут скверно — помещики отказались вложить деньги в постройку оросительного канала, а крестьяне боятся, что вода принесет с собой рознь и вражду, что все будет сорваться из-за полива. За революционным движением он теперь следит со стороны — когда с интересом, когда с ревностью. О хождении в народ больше не вспоминает, но, поругавшись с уездным начальником или приставом, взрывается и кричит: террор — единственное, что может принести результаты! Он уверял, что эсдеки тоже придут к этому выводу. Ладо подтрунивал над ним, и он с досадой бросал: — Ты все такой же, как в детстве! — Потом сам начинал улыбаться, устыдившись своей горячности.

Ладо зарывается в одеяло и прижимает его к лицу. Что может быть лучше дома!

На другом берегу Куры чуть слышно задребезжал звонок конки. Откуда взялся вагончик ночью? Или мерещится?

Интересно, как понравилась бы брату работа Ленина «Что делать?». Ленин остро высмеивал кустарничество. Так и писал, что «мы своим кустарничеством уронили престиж революционера на Руси». И экономистам от него достается, и террористам. Добывает их, окончательно и бесповоротно добывает! В «Что делать?» говорилось и о значении передовой революционной теории — там слова, которые будут много и часто повторять: «Без революционной теории не может быть и революционного движения», и о том, какой должна быть революционная организация, там и план работы общерусской политической газеты... На «Что делать?» будут опираться и ссылаться многие десятки лет, она все, все буквально ставит с головы на ноги! Ленин совершенно опрокидывал представления о том, как и на каких организационных принципах следует вести революционную работу. Многие социал-демократы считали, что с абсолютизмом необходимо бороться, имея организации, построенные на широком демократизме, широкой выборности, сменяемости вождей. Ленин доказывал обратное, он утверждал, что в условиях абсолютизма никакая революционная организация широкого демократизма не проводила и не может проводить, что это — вредная игрушка, что в современном обществе стойкая борьба невозможна без профессионально подготовленных вождей, без узкого круга вышколенных не менее полиции революционеров, которые централизуют все конспиративные стороны дела, вплоть до назначения отряда руководителей для каждого района, города, каждого фабричного квартала, для каждого учебного заведения...

Ладо заворочался, плотнее закутался в одеяло и закрыл глаза. Он заснул беспокойным сном и увидел во сне горы — скалистые, серые, лишённые растительности, такие же, как в верховьях Арагви и Терека, только раз в двадцать ниже. И внизу, вместо зеленых долин, шумело, взметая пенные брызги, свинцовое море. Широкоплечий, коренастый человек шел впереди Ладо и сбрасывал ногой с тропинки валуны, упавшие сверху со склона. Они, падая, высекали из скал искры. Он остановился у крупного обломка скалы и оглянулся на Ладо. — Любопытно, правда? Сколько уже лежит этот камень на дороге? Поглядите-ка, замшел весь, а никто его не сбросил, бретонцы вон даже тропиночку в обход протоптали. Ну-ка, помогите мне. — Он уперся руками в камень, рукава разбухли под напором мускулов, и глыба медленно перекосилась, обнажая сырое основание, покрытое мокрицами. — Навалитесь, навалитесь, батенька, корней у этой штуkenци нет, а кабы были, мы бы ее с корнем! — Глыба сползла с дороги и закувыркалась по склону. Человек проследил за тем, как она падает, раскалываясь на куски, и удовлетворенно хохотнул. — Вот так. Вот и все!.. — Он снова зашагал вверх по каменной тропе очень твердой и спорой походкой...

Ладо проснулся, и не сразу понял, почему он лежит один, укрытый одеялом. Мысли, и сон его, и пробуждение ото сна слились в непрерывное, продолжающееся, и он ощутил, как никогда еще, неотвратимость грядущего революционного сражения. Раньше Ладо в это верил, теперь он был в этом убежден, как убедился мальчишкой в силе молнии. Его всегда забавляло, когда другие вздрагивали и крестились от удара грома и вспышки молнии, ему казалось, что молния и гром — всего лишь радостное представление, устраиваемое дождем, он выскакивал из дому и носился босиком по лужам и кричал, смеялся, когда по



небу проскакивала светящаяся жила и гулко грохотал огромный небесный барабан. Потом он увидел, как молния вонзилась в навес на поле, грохот оглушил его, над навесом возникли огонь и дым. Все еще посмеиваясь, он побежал к навесу и увидел почерневшего мертвого сторожа. После того как умерла мать и казачьи пороли насмерть деревенского сказочника, это была третья смерть, которую он увидел своими глазами. Через несколько дней гроза разразилась снова, Ладо не испугался, но и не побежал больше по лужам. Он стоял у окна и думал о том, почему молния убивает людей. — В ней электричество, — объяснил ему Нико. — Электричество дает свет — такой же, как газовый фонарь, помнишь, я тебе показывал в Тифлисе? — и может убить. — Но почему, почему? Пусть себе дает свет, но почему она убивает? — Молния, как огонь, Ладо. Ты же знаешь, что огонь сжигает дерево, может сжечь и человека, если неосторожно обращаться с огнем...

Наверное, он уж очень затосковал по дому, раз мысль все время возвращается к отцу и братьям. Конечно, затосковал. Будто в этом можно сомневаться. И тишины хочется. Какой разной может быть тишина. Город давно спит, шагов часового не слышно, и крысы не бегают — наверное, отправились к Куре на водопой. Тихо. И все же это совсем не похоже на тишину деревни. Там ты слышишь, как спит мир, спит вместе с тобой, а здесь тишина твоей камеры принадлежит только тебе.

Ладо откинул одеяло, встал, подошел к окну. Отсюда было лучше слышно, как ворчит, разбиваясь о камни, вода Куры.

Удивительно синяя ночь — городские крыши, и стены домов, и редкие купы деревьев, и Давидовская гора, и крепость Шуриш-цихе — все по-разному синее и кажется прозрачным.

Вжавшись лицом в квадрат, образованный перекрестьями решетки, Ладо елелид за движением синих и голубых теней на развалинах Шуриш-цихе.

Удивительна судьба моего народа, подумал он, самой природой своей и сердцем своим ты рожден для мира, для земледелия, для веселья и песен, характер твой мягок, душа широко распахнута для друга и гостя, ты не задумываешься протягиваешь руку человеку, попавшему в беду, матери твои никогда не оставляли своих детей, а дети всегда почитают родителей и добрым словом помнят предков. Но из года в год, из века в век ты был вынужден оставлять соху в борозде и совершать то, что претило тебе больше всего, — убивать, чтобы защитить свою землю и своих детей от византийцев и персов, арабов и сарацин, сельджуков, хазар и монголов. Правда, и в ненависти, и в убийстве ты продолжал оставаться самим собой — раненому прищельцу перевязывал раны, а убитого врага предавал земле, как человека.

Ладо услышал свой шепот — оказывается, он говорил вслух, и слова сами собой складывались в стихи. Спотыкаясь, трудно подбирая рифмы, он продолжал думать вслух:

— Я люблю тебя, народ мой, не за то, что считаю тебя лучше всех других, я люблю тебя за то, что ты мой народ, за то, что еще в те далекие времена, когда все рьяно веровали в божественность царя, ты ниже, чем царям, поклонялся поэтам и поэтов почитал, как своих владык. Многая лета тебе, народ мой!

Ничего больше я так не хочу для тебя, как ясного неба, которое не будет перечеркивать длинная рука русского царя, и более всего я хочу для тебя мира, жизни без виселиц и тюрем, без петушиного самоуправства князей, претворящихся добрыми опекунами крестьян, без взяточников-чиновников, плодящихся нынче словно кролики.

Ты добр, ты мудр, ты мужествен, трудолюбив и весел, народ мой. Да не заразит тебя на твоём пути к свободе чума стяжательства, дворянской спеси и лени! Ты сохранил себя среди монголов, персов и турок, ты хранишь себя под нагайками казаков, так сохрани себя и в грядущих испытаниях! Многая лета тебе, народ мой!

Мрак и полное забытие грозит только тому, кто вместо борьбы с поработителем притесняет слабого. А несущему добро смерть не страшна — умерев, он возродится снова и снова. Многая лета тебе, народ мой!

Ладо вздохнул. В деревне тоже уже светает. Над крышами домов летают ласточки, с полей их зовет жаворонок.

Ладо зажмурился, когда солнце, взшедшее где-то за тюрьмой, загло купола Сионского собора, отошел от окна, лег, заснул и увидел во сне, будто он маленький и бросается в речку, чтобы переплыть ее.

Все шло прахом. Самодовольный тупица Дебиль пожал плоды стараний Рунича, был отмечен и переведен на более высокую должность. Прощаясь с подчиненными, генерал даже не считал нужным выразить им благодарность и лишь пожелал успешной службы со своим преемником, полковником Ковалевским. Удивительно, право, удивительно, что в службе более всего продвигаются теперь любители загребать жар чужими руками и бездарности. Или само время выносит на гребень жизни серые личности? Неужели правы были однокашники, осевшие в столичных канцеляриях? Отец во время последней встречи говорил, что люди мельчают, а мельчают они обычно тогда, когда правители не в силах внести в государственную повседневность ничего нового и тщатся сохранить существующее положение. Рунич, подумав, возразил, что время само призывает крупных людей, ибо движение снизу нарастает, и для сопротивления ему потребны сильные деятели. Отец понял, что он думает о себе, и пробормотал: — Я только рад буду. — Но выходит, что отец был прав — время призвало Дебиля, а Рунич требовался лишь как ступенька, по которой после Дебиля шагнет вверх Ковалевский. Даже осел Лавров это, кажется, понял. Впрочем, обиженная миная его продержалась недолго, он вскоре стал есть глазами нового начальника. Вот они рядом — Рунич и Лавров. Вверх не движутся оба, хотя один умен, а другой тупой осел. Если интеллект не в почете, почему круглый дурак тоже не в фаворе? Наверное, потому, что ограниченность Лаврова слишком уж бьет в нос, он не умеет ее прятать. Да, сейчас эпоха тех, кто не рассуждает, не обнажает своей тупости и показывает, будто работает, ничего не делая. Господи, на чем только держится государство? Поневолу признаешь, что те, кого он допрашивает в Метехской тюрьме, куда значительно больше всех его начальников и сослуживцев. Особенно Кецховели. Иногда кажется, что он догадывается обо всем, что думает Рунич, знает о нем больше, чем кто-нибудь другой. Хотя всего этого быть не может. Если бы Кецховели знал о мальчишке, это ничем не грозило бы, неприятно только, если оказался свидетелем... Кецховели сейчас держат в темном карцере. Милов рассказывает, что Кецховели вдруг плюнул ему в лицо. Странно...

Странное выработалось отношение к Кецховели. Видимо, от усталости и нервов кажется, что даже на расстоянии ощущаешь испытующий взгляд карих глаз этого человека. Он внес сплошное беспокойство в жизнь Рунича, и, как ни глупо быть суеверным, кажется, что из-за Кецховели его ждут большие неприятности. Но одновременно, нечего кривить душой, Кецховели и притягивает к себе. Теперь, после окончания следствия, словно не хватает разговоров с ним. Одно время нечто похоже было во взаимоотношениях с отцом. Надев офицерские погоны, он не переставал ощущать при встречах с отцом, что даже в погонах он все еще мальчишка. Не уважать отца было нельзя, но постоянно хотелось спорить с ним, чем-то досадить, показать свое с ним равенство. Отец и не догадывался, как сын временами его ненавидел. Сравнение отца с Кецховели, разумеется, кощунство, но нельзя не признать, что существование Кецховели больше всего мешало ему тем, что о нем слишком часто думаешь.

Как же он забыл? Как мог он забыть? На прошлой неделе у Амалии дома, лаская ее, он почувствовал какую-то перемену и спросил, не беременна ли она. Амалия зажмурилась, спрятала лицо ему в подмышку и ответила, что он угадал — она действительно ждет ребенка. Рунич рассмеялся, представив, как загадают тифлисские кумушки, узнав, что у старого князя, застрявшего где-то в Париже, родился ребенок. Вообразив лицо князя, он развеселился еще пуще. Амалия удивленно на него смотрела, не понимая, что он нашел смешного в ее положении. Он объяснил. Губы ее тоже тронула улыбка, потом она расплакалась.

Рунич не любил, когда Амалия ревела. Нахмурившись, он подумал, что история эта сейчас ему совершенно ни к чему. Пойдут разговоры, и, учитывая, что с полковником Ковалевским отношения еще не определились, огласка может пойти во вред. Долг чести офицера позаботиться о том, чтобы неприятные для женщины последствия были ликвидированы без сплетен и, конечно, за его счет. — Не волнуйся, — сказал он, — я найду акушерку. — Амалия отодвинулась и уставилась на него своими огромными глазами. — Я думала, — тихо произнесла она, — я думала, что ты... — Что? — Рунич расхохотался. — Дуреха! Вот дуреха! — Амалия вскочила и набросила на себя капот. — Уходи! Уходи! — Он испугался, что крики ее услышат соседи — нянька снова была в деревне, а горничная получала от него деньги за молчание, — хотел зажать ей рот, но она вырвалась, отбежала в конец комнаты и схватила со стола длинный острый нож, невеста как полавший в спальню. — Уходи, а то я ударю тебя! — Она визжала на весь дом, махала перед собой ножом, наступала на Рунича. Рунич схватил ее за руку. Она перехватила нож левой рукой, прямо за лезвие,

и порезала себе пальцы. Отнимая нож, Рунич порезался сам. Отбросив нож, он надавал Амалии пощечин, швырнул ее на кровать и приказал, чтобы она не могла встать. Она вырывалась, пыталась оцарапать ему лицо, укусила в щеку, и пришлось еще раз ударить ее. Она затихла. Рунич приласкал ее, она немного оживилась, но не отвечала на ласки, и только смотрела на него — с отвращением и со страхом. Следовало, конечно, поговорить с ней, сказать еще что-либо утешительное, но Руничу надоело играть мелодраму. Он встал, оделся, сказал, чтобы она завтра пришла к нему, и удалился.

Амалия не появлялась, он забыл о ней и вспомнил только сейчас. Какая-то женщина шла навстречу, задумавшись и улыбаясь. Рунич, заметив выступающий живот, угадал, что она улыбается жизни, которая зародилась в ней и, наверное, дала знать о себе каким-нибудь движением. Так же, наверное, когда-то улыбалась и его мать, когда он шевелился в ее утробе. Черт побери, неужели в Амалии уже живет то, что продолжит Рунича, и его мать, и отца, и всех других Руничей? Если Амалия на третьем месяце, то через полгода на свет появится мальчик — смуглый, с темными глазами, новый Рунич. Никогда еще в голову не приходила мысль о возможности появления сына. До сих пор разговоры или предположения о женитьбе, о семье были такими же, как разговоры о переезде на новую квартиру или приобретении жеребца для верховой езды, а аборт у неопытных любовниц были лишь избавлением от ненужных последствий. Пожалуй, отец обрадовался бы, если б Рунич привез ему внука. Что, если в самом деле?.. Амалию можно сперва поместить за городом, няньке заткнуть рот деньгами, затем договориться в Ольгинском повивальном институте, там имеются отдельные комнаты для секретных роженец. Амалия родит, вернется домой, а Рунич наймет кормилицу и отвезет сына в имение к отцу. Все приличия при этом останутся соблюдены. На крайний случай няньку мужа можно будет на время изолировать, распорядиться, чтобы старую ведьму выслали на годик в деревню, под гласный надзор полиции.

Наверное, с возрастом приходят новые воззрения. Никогда раньше он не задумывался над тем, что его незадачливые любовницы, умерщвляя плод, покушались на него самого, убивали его, Рунича, наследников. Отцу вряд ли следует объяснять, кто мать ребенка. — Она знатного рода, отец, я дал слово офицера. — У старика свои взгляды, переубеждать его совершенно бессмысленно и он вряд ли поймет. Собственно, Рунич не солжет — Амалия, какая-никакая, а княгиня. Отец тоже пошаливал, и не только в молодости, хотя Руничу ни разу не встречались в селе ребята, похожие на отца и на него. Может быть, отец куда-нибудь отсылал своих незаконных детей и они сейчас обитают в других деревнях или городах? Негоже интересоваться отцовскими грехами. В конце концов человека должно занимать только то, что связано с ним самим и с его потомками. В прошлое не может вернуться даже сам господь бог, иначе он, наверное, сотворил бы мир заново, оградив его от появления дебилей и лавровых. Одна Ева для Адама тоже не очень остроумное изобретение. Почему он не вынул у Адама три-четыре ребра? Ошибка, которую решили поправить мусульмане. Вообще старик Саваоф изрядно напорочил в семидневной спешке.

Рунич развеселился и, разрешив себе вольно думать обо всем, шагал по Михайловскому проспекту, с удовольствием ощущая, как упруго и легко он идет, как приятно звенят шпоры и как по-разному — со страхом, с подобострастием, с холодком, с ненавистью даже — смотрят на него прохожие. Не все его знали в лицо, но все, конечно, чувствовали, что имеют дело с личностью. В наше время это главное — знать себе цену, знать, что ты личность, и бог с ней, со всей той глупостью, которая растет, прыгает, пляшет вокруг тебя.

Рунич свернул в переулок и вошел в парикмахерскую. Маленький старичок-парикмахер при виде его вздрогнул, уронил книжечку, которую держал в руках, и вскочил.

— Здравствуйте, пан ротмистр, вы пожаловали... Давно не имел чести вас видеть. Прощу, прощу. Минуточку, я оботру кресло.

— Ну, ну, не суетитесь так, — сказал Рунич, поднимая брошюру. — Чем это вы так увлечены? Письмо Домбровского Каткову. Издание старое, нелегальное. Где вы взяли эту брошюру, господин Поклевский?

У парикмахера задрожали губы.

— У букиниста.

— Да? — Рунич бросил брошюру на столик, устроился в кресле, расстегнул воротник и с улыбкой посмотрел на перепуганного поляка. — А может, у вас имеется что-либо и поновее? Признайтесь лучше, а то придется явиться к вам с обыском. Приступайте, приступайте к делу.

Поклевский намылил Руничу лицо и принялся брить его.

— Все-таки, как волка не корми, а он в лес смотрит, — посмеиваясь, лениво рассуждал Рунич. — Сколько уже лет прошло после польского восстания,

давно Домбровского нет в живых, а вы все за старое? Кого из тифлисских полков вы знаете?

— Я живу одиноко, господин ротмистр, — тихо ответил Поклевский.

— Знаю, знаю. Я все знаю, потому и спрашиваю. Ваше заведение весьма удобно, скажем, для передачи нелегалщины. Один зайдет, забудет сверточек, другой захватит его. А вы вроде ни при чем. Расскажите, кто у вас забывал книжечки или газеты?

— Никто, господин ротмистр. Неужто вы в самом деле подозреваете меня? Иезус, Мария, я живу... меня только цветы интересуют, у меня садик. Я старый человек, господин ротмистр, мне недолго жить осталось, я и так уже наказан, за что же вы!

— Старый, говорите, вы? Старым как раз и нечего бояться. Скажите, господин Поклевский, неужели, когда вы ложитесь спать и перед сном думаете о жизни вашей и вообще о жизни, на ум вам не приходит мысль о том, допустим, что не все ладно в государстве нашем, или еще какие-либо другие такие соображения? У каждого мыслящего человека есть идея. Какова ваша тайная идея?

Рунич улыбнулся и закрыл глаза.

Он сидел, запрокинув голову. Не услышав ответа и перестав ощущать прикосновение бритвы к подбородку, поднял веки и увидел склонившееся к нему лицо Поклевского, со сведенными воедино седыми бровями, с глазами, в которых зрачки, как у безумного, остановились. Пальцы Рунича сами, прежде чем он успел подумать, вцепились в руку Поклевского и вывернули ему кисть. Бритва упала на пол, Рунич вскочил и ударил Поклевского кулаком в подбородок. Старик упал легко, словно ожидал удара, и заплакал.

Рунич приподнял его, схватил за ворот халата.

— Ты что это, ты что задумал, сволочь польская?

— Я ничего, — с ужасом глядя на него ответил Поклевский.

Рунич выпустил его, и он снова упал на пол. Рунич выпрямился, посмотрел в зеркало на свое серое лицо и ощутил, как холодок, словно от сквозняка, прошелся по спине. Не оборачиваясь, он поднял с пола бритву и принялся сам добавивать себе шею.

— Встаньте, — сказал он, — сядьте в угол на стул и не двигайтесь.

Было слышно, как старик завозился, как у него хрустнули коленки и как зашаркали по полу штиблеты. Когда Поклевский сел, в зеркале отразилась его физиономия — губы от удара Рунича были разбиты и на подбородок сочилась кровь. Намеревался он или нет? Если намеревался, то Рунича уже не было бы. Неделю назад схватилась за нож Амалия, сегодня — этот старикашка. Не жизнь, а авантюрный роман какой-то. Однако шутки-шутками, но если Поклевский в самом деле намеревался... Подумать только, сколько лет подряд Рунич брился здесь и каждый раз, как садился в кресло, мог, оказывается, перестать существовать. Мгновение, и нет ни мыслей, ни желаний, ни отца, ни будущего сына — ничего. Что делать со стариком? Посадить в тюрьму? Прокурор запротестует: — Внутреннее намерение не есть преступление или попытка совершить его, намерение могло измениться. — Что на это скажешь? Показалось страшным выражение его глаз? Поставишь себя в идиотское положение. Прокурор со своей язвительной улыбкой скажет: — Эдак, господин ротмистр, мы должны будем по каждому заявлению любого гражданина нашей империи арестовывать и отправлять на каторгу парикмахеров, выражение глаз которых не понравилось клиентам. Даже если господин Поклевский подтвердит, что такое намерение пришло ему в голову, осудить его невозможно — за мысли не наказывают.

Рунич отложил бритву, обер лицо салфеткой, застегнул воротник и повернулся к старiku.

— Слушайте, вы в самом деле намеревались полоснуть меня по горлу или мне показалось? Говорите, не бойтесь. К сожалению, вам ничто не грозит.

Поклевский поднял голову, обер рукой подбородок и губы, посмотрел на свои пальцы, и потухшие глаза его оживились.

— Я больше не боюсь вас, господин ротмистр. Я жалею, что не успел... Иезус, Мария, что я говорю, что со мной?

Он обхватил руками голову, заплакал и закачался из стороны в сторону.

Рунич не ждал признания. Ему почему-то хотелось, чтобы старик отперся.

— Вы в самом деле намеревались? — повторил он. — Но почему, что я вам дурного сделал?

Поклевский не ответил. Матерно выругавшись, Рунич вышел. На проспекте он остановил фаэтон и поехал к Амалии.

Подумав, Рунич определил, что Поклевский сказал правду, и на душе у него полетчало, как у человека, мимо которого прошла смерть, не задев его.

— Долго жить буду, — решил он.

С моста был виден Метехский замок. Рунич подумал о том, как, должно быть, скверно чувствует себя Кецховели. Ловко придумало тюремное начальство. Зимой сажает арестантов в холодный карцер, с выбитыми стеклами в окна с водой, просачивающейся сквозь пол, а летом — в карцер без окна, прилегающий одной стеной к печи и дымоходу тюремной кухни, там жарче и душнее, чем на экваторе.

Рунич остановил извозчика, купил в цветочном магазине букет роз и поехал дальше.

Горничная — румяная, широкозадая девка — осклабилась, увидев его. Он бросил ей монету, шлепнул ее по ягодицам и вошел. Нянька мужа встретила его в первой комнате.

— Нельзя, — сказала она по-грузински.

Рунич отстранил ее и прошел в другую комнату. Старуха поспешила за ним, дернула за локоть.

— Уйди, ведьма! — буркнул он. — На, поставь цветы в воду.

Он сунул ей в руки букет роз и толкнул дверь.

Амалия лежала в постели. В комнате пахло алтекой и еще чем-то.

— Здравствуй, моя... хорошая, — сказал Рунич, наклонившись над кроватью, и коснулся губами горячего, сухого рта Амалии. — Почему ты лежишь? Заболела?

Он придвинул стул, сел, взял ее руку и стал целовать — от запястья до локтя.

— Прости меня, я был груб. Что с тобой, скажи мне?

Не выпуская руки Амалии, он с нежностью посмотрел в ее лицо. Оно осунулось, пропала припухлость щек, глаза, походившие раньше на большие пуговицы, обернутые черным шелком, приобрели цвет глубокой воды. Она уже мать, с благодарностью подумал Рунич.

Поглаживая ее руку, он рассказал о своих планах. Амалия слушала молча. Вошла старуха с большим белым кувшином, в котором стояли розы.

— Выйди, — велела Амалия.

Старуха поставила кувшин на комод и, что-то сердито приговаривая, ушла. Амалия приподнялась немного, подоткнула подушку, чтобы голова была выше и, смотря Руничу прямо в глаза, жестко сказала:

— Ты, оказывается, палач.

Он засмеялся.

— Теперь у тебя нет больше причин сердиться. Какая ты была с ножом... Я чуть не испугался. Дай я тебя поцелую.

— Не прикасайся ко мне! Я говорю, что ты палач и по службе. Мне рассказали. Я думала, ты солдат, офицер. А ты, оказывается, мучишь арестантов в Метехи. Поэтому ты был таким со мной.

— Я следовательно, Амалия. Ты ведь знаешь, что такое юрист? Следовательно, прокурор, судья, адвокат...

— Нет, ты противный. Я думала, я поняла — тебе нравится быть таким.

— Перестань сердиться, я же сказал, что тебе нечего беспокоиться. Я все сделаю без сучка, без задоринки. Никто ничего не узнает. Сына я увезу.

— Ты грязный, — холодно, по-старушечьи убежденно сказала она, — даже сам не замечаешь. Я как будто в лятнах, не отмыться. Сына у тебя не будет, никого не будет. Я вчера...

Рунич поверил ей сразу. Он понял теперь, чем пахло в комнате.

— Что ты натворила, — тихо сказал он.

Она перестала смеяться и холодно спросила:

— Думаешь, я боюсь, что все узнают? Да я лучше бросилась бы в Курру, чем родила бы от тебя.

Она повзала няньку и сказала Руничу:

— Уходи.

Рунич вскочил и, беззвучно ругаясь, побрел к двери. Его словно кто-то ударил под локтечку. Согнувшись, он вышел из дому и, пройдя немного, свернул на Гановскую. Амалия обворовала его еще до того, как он открыл для себя, что такое сын.

Вспомнив, как холодно и жестко говорила с ним Амалия, как изменилось ее лицо, он не мог не отметить, что она стала одухотвореннее. Как она показала ему рукой на дверь! На такой можно и жениться. Отец поверил бы, что она знатного происхождения. Конечно, она оскорбилась, когда он принялся хохотать... Думая так об Амалии, он в глубине души подозревал, что на самом деле она не переменялась, но ему хотелось сейчас думать об Амалии, как о женщине чистой, и он почти уверовал в это.

Боль под локтечкой, опустившая было, заставила его снова согнуться. Он дошел до Дворянского собрания, выпил прямо у буфетной стойки полбутылки

коньяку и снова вышел на проспект. Боль отошла. Он ощутил, что несколько опьянел.

Единственное, о чем он теперь думал, — о том, что лишился радости, что убит его ребенок, его сын. Как бы он его назвал? А как звали того оборвыша, которого он сбил конем?? Наверное, отец и мать его, когда им принесли мальчишку, еще острее, оглушительнее переживали смерть сына, ведь сын Рунича еще не родился, а тот уже несколько лет бегал, смеялся, говорил. Сколько ему было годиков? Пять-шесть, не больше...

Рунич вернулся в ресторан Дворянского собрания, чтобы выпить еще коньяку. В дверях ему встретился полковник Габаев, широкоплечий, со стройными, длинными ногами и с огромным, круглым животом, выпирающим из его сухого туловища; лицо у Габаева отличалось такой же странностью — длинное, скуластое, а подбородок тройной, словно взятый взаймы у другого, очень толстого человека.

— Здравия желаю, ротмистр, — пробасил Габаев. — Вы сюда, а я, увы, покидаю приятное застолье.

— Так рано, ваше высокоблагородие? Может, выпьете со мной коньяку?

— Коньяк не употребляю. Только вино. И служба, служба-с ждет. Вот когда вы переловите и засудите всех бунтовщиков, нам станет полегче.

— Прошу прощения, ваше высокоблагородие, вы, случаем, не в Метехи?

— Разумеется. Мой батальон несет там охранную службу. Разве вы забыли? Вид у вас такой... словно вы недопили.

— Именно, — подтвердил Рунич, — прихватите меня с собой. Я вот только еще бокал коньяку выпью.

— Что вам вдруг понадобилось в тюрьме в неурочное время? Мне-то надо проверить несение службы, доложили, что некоторые солдаты закрывают глаза на действия арестантов.

— Мне тоже надо... — Рунич не договорил.

— С обыском хотите нагрянуть? Прошу.

Они сели в коляску полковника.

Полковник Габаев был разговорчив, но Рунич не слушал его.

— Ротмистр, что с вами делается? — услышал он голоос полковника. — В третий раз спрашиваю.

— Прошу прощения. Повторите, пожалуйста, еще.

— Я спрашиваю, кого вы собираетесь накрыть? Если это не секрет, конечно.

— Помилуйте, ваше высокоблагородие, какие могут быть от вас секреты. Еду допросить Кецховели.

— А-а, беспокойная личность. Милову о нем не напоминай, за сердце хватается. Я распорядился, чтобы на пост номер шесть ставили самых надежных солдат, а то мой земляк-политик действует на часовых, аки лукавый змий. И ведь дворянин! Удивляет меня, что с такими, как он, позорящими наше дворянство, столь преданное государю-императору, так нянькаются.

— А вы не нянькайтесь, — рассеянно сказал Рунич.

— Его высокопревосходительство генерал Светлов то же самое приказал мне вчера.

Рунич перестал слушать.

Они въехали во двор замка. Габаев пошел в дежурку, а Рунич в сопровождении унтер-офицера и надзирателя направился к летнему карцеру.

Шаги их многократно отдавались в коридорах. Надзиратель отомкнул дверь карцера.

— Занесите фонарь и выйдите, — приказал унтеру Рунич. Помедлив, он вошел в камеру величиной немногим больше стеного шкафа. Унтер протянул в дверь руку и поставил «летучую мышь» на пол. Язычок пламени в фонаре съезжился. При слабом свете Рунич увидел Кецховели, сидящего на полу, спиной к стене, глаза у него были открыты, веки часто мигали, наверное, тусклый свет фонаря после темноты оказался слишком ярким.

Рунич посмотрел по сторонам.

— Садиться можно прямо на пол, — хрипло произнес Кецховели, — табуреты и кровать, здесь, как известно, запрещены. К тому же у пола сравнительно легче дышится.

— Здравствуйте, — сказал Рунич, тоже хрипло, потому что от спертости воздуха у него запершило в горле. — Черт побери, дверь лучше оставить открытой.

— Вы не лишены сообразительности. Что, снова с обыском, господин Рунич?

— Нет. Вы еше говорите.

— А вы попробуйте посидеть в этой адской жаровне шесть суток.

— Унтер! — крикнул Рунич. — Принесите кувшин воды. Не думал, что здесь такое пекло.

— Разве не вы с Миловым придумали этот райский сейф? Если вам трудно стоять, присядьте на парашу.

Рунич промолчал. Он всматривался в лицо Кецховели. Борода у него выросла почти до пояса, давно не стриженные волосы падали на лоб, и в этой массе волос блестели глаза и белые зубы. Кецховели расстегнул ворот рубахи, подставляя грудь воздуху, вползавшему по низу от двери, и глубоко дышал.

Унтер протянул с порога глиняный кувшин с водой и железную кружку. Рунич показал на Кецховели. Унтер наполнил кружку. Кецховели взял ее и медленно, задерживая воду во рту, стал пить. Унтер опустил кувшин на пол и скрылся за дверью.

— Говорите, — сказал окрепшим голосом Кецховели. — Предполагаю, что вы не просто с визитом вежливости, иначе я попал бы в неловкое положение. Не ждал гостя, а то оставил бы вчера часть пайка хлеба. Сегодня у меня голодный день.

Таким Рунич еще не видел своего подследственного.

— Простите, но я в самом деле просто... Хотел повидаться с вами. Я изрядно выпил, но не поштому.

— Любопытствовали, как я выгляжу после шестидневного карцера?

— Нет, не для этого, даю слово, — вполголоса произнес Рунич. — Я не по службе.

Кецховели налил себе еще воды, выпил, встал, держась за стену, поднял «летучую мышь» и осветил Рунича.

— Вы просто так?

Рунич кивнул.

— Тогда... Обождите. — Кецховели опустил фонарь, вылил остаток воды из кувшина в кружку, перевернул кувшин и поставил его на пол вверх дном. — Садитесь. Я уже привык к полу.

Они сели. Рунич на кувшин, Кецховели снова на пол, прислонившись спиной к стене. Они сидели так близко, что чувствовали дыхание друг друга.

Зажмурив глаза, Кецховели смакуя пил воду.

— Жажда замучила? — спросил Рунич. — Разве вам не дают воду?

Кецховели усмехнулся.

— Норма воды не соответствует температуре карцера. К тому же надзиратели — народ рассеянный. Разве не вы с Миловым рекомендовали им такую рассеянность?

Рунич не ответил. Не надо было ему сюда приходиться.

— За что вас сюда посадили? — спросил он.

— Неужели не знаете? — Кецховели допил воду и удовлетворенно вздохнул. — Я попросил, чтобы одну заключенную выпустили из карцера, она слаба здоровьем и болеет. А господин Милов в ответ на мои слова о возможной забастовке арестантов оскорбил женщину. Я плюнул. Дать пощечину, к сожалению, не успел.

— Милов не дворянского происхождения, — сказал Рунич.

— Вы в самом деле верите в эту чепуху? Или вам неизвестно, что никого так более не почитают в простом народе, как мать и вообще женщину.

Рунич промолчал, оглянулся на дверь и пробормотал:

— Не люблю театра. Мое появление здесь, в такой час, словно из плохой пьесы.

— Почему обязательно плохой? У Шекспира в трагедиях тюремщики тоже приходят в башню поговорить с арестантами. Поговорят, облегчат душу и велют вести арестанта на плаху. С вами что-нибудь случилось?

— Мне все равно, что вы обо мне подумаете. Мне не с кем поговорить и...

— Ваше появление внесло неожиданное разнообразие. И освещение. — Кецховели кивнул на «летучую мышь». — Темнота все же приедается. А вода — это просто хорошо. Вижу, что вам не по душе, когда я наступаю на ваши ротмистрские мозоли. Говорите. Я слушаю.

Почему Рунич решил, что Кецховели встретит его улыбкой? Как сам он отнесся бы к появлению жандармского следователя, если бы оказался в положении Кецховели?

— Не знаю, что меня к вам понесло, — сказал он. — Видимо, нервишки распатались. Дважды меня за эти дни чуть не убили — женщина, которую я... любовница моя, и старый парикмахер, поляк, чуть не полоснул по горлу бритвой. А сегодня я потерял сына...

Кецховели поднял кружку ко рту, поймал несколько капель воды и закрыл глаза. Поставив кружку на пол, он провел руками по лицу.

— У меня не было сына, но я вам сочувствую. Что с ним случилось?

Он поднял веки. Рунич стал торопливо, захлебываясь словами и вытирая  
льняные слезы, рассказывать.

Он замолк. Кецховели поджал колени и оперся о них головой, обхватив  
ти руками.

Рунич, заставив себя усмехнуться, сказал:

— Видите, я вам исповедался, как священнику.

Кецховели молчал, о чем-то думая.

— Вы говорили, что лицо мое вам знакомо, — сказал Рунич, — не вспом-  
нили, где вы меня видели?

— Вспомнил. На Майдане, лет шесть тому назад, вы ехали в коляске, а  
я шел сквозь толпу в серную баню.

— Вы любите серные бани? — Рунич оживился.

— Очень.

— В какую вы ходили?

— В Мирзоевскую или в Бебутовскую.

— А я только в бани царя Ираклия. На похмелье особенно хорошо. По  
мне турецкая баня лучше нашей русской парной.

— После русской бани чувствуешь себя очень чистым, а после тифлис-  
ской — помолодевшим, — сказал, почесываясь, Ладо.

— Именно, вы точно заметили разницу. В бане Ираклия у меня такой  
терщик! Сходите к нему, не пожалеете.

— К сожалению, нас здесь баней не балуют.

Рунич поправил под собой кувшин и спросил вполголоса, почти шепотом:

— Почему вы как-то задали вопрос, не участвовал ли я в карательной  
экспедиции?

— Когда я был малышом, при мне казаки заporоли насмерть одного ста-  
рика, сказочника. У офицера было сходство с вами.

— Скажите, а возмездие существует? Я знаю, это басни, суеверие, но ме-  
ня интересует ваше мнение.

— Какое возмездие вы имеете в виду?

— Бог, судьба, рок, какая разница! Допустим, понесла лошадь, на дороге  
человек, какой-то мальчишка, вы могли направить лошадь в сторону, почему-то  
не сделали этого и смяли этого... человека, может быть, лошадь даже убила его.  
Я придумываю... Так вот, если человек смял лошадью путника на дороге, не-  
чаянно, конечно, может ли потом, много лет спустя из-за этого погибнуть его  
близкий?

— Сын, допустим, — сказал Кецховели.

— Сын или дочь, или сестра, я вообще говорю.

— Вы уже жалеете о своей пьяной откровенности. Вы в самом деле ждете  
моего ответа? Хмель не помешает вам понять?

— Не помешает. Говорите.

— Тогда скажите мне, почему вы решили, что у вашей возлюбленной  
должен был родиться именно ваш ребенок? Почему не ее? Почему только ваш?

Рунич пожал плечами.

— Хотите услышать от меня правду? — спросил Кецховели.

— Я слушаю вас.

— Вы боитесь. Вы очень боитесь. Вы пришли ко мне не просто так, при-  
ехали не потому, что выжили, не случайно, а потому, что вы защищаете то, что  
умрет, и во мне видите представителя тех, кто уничтожит вас. Вы ощущаете  
приближение перемен и ищите не утешения, как вам кажется, а спасения, оп-  
равдания перед судом будущего, готовы даже на приговор: виновен, но заслу-  
живает снисхождения, и рассчитываете, что о снисхождении сейчас скажу вам я.  
Вы спросили о возмездии, предполагая, что оно уже пришло к вам, когда ваша  
возлюбленная избавилась от ребенка. Вы ошибаетесь. Обоих — и того, кого вы  
сшибли конем, и своего будущего ребенка убили вы сами. Если бы вы любили  
женщину, которая понесла от вас, она не сделала бы себе выкидыша. Думаю,  
что будущего ребенка вы тоже не любили, а любили в нем только себя. — Ке-  
цховели замолк и посмотрел в глаза Руничу. — Вы были со мной откровенны,  
и я сказал, что думаю. Но и вы подумайте: вы служите тем, кто отбирает у на-  
рода все, что принадлежит ему, отбираете плоды его труда, даже саму жизнь.  
Вы старательно, по убеждению, участвуете в этом грабеже, а когда люди протес-  
туют, вы сажаете их в тюрьму, мучаете и убиваете, называя это службой оте-  
честву.

— Я говорил с вами как человек с человеком, — сдавленно произнес  
Рунич, он немного протрезвел, — а вы говорите со мной, как революционер  
с жандармом.

— Нет, я говорю именно, как человек с человеком, иначе я вообще не  
стал бы говорить с вами. Вы в своих мыслях о себе забыли, что мы разговари-



ваем не на равных, что я в карцере, в тюрьме, а вы один из тех, кто думает, чтобы я просидел здесь как можно дольше, а то и остался бы навсегда. Вы ведь не адвокат и не собираетесь меня защищать.

— Это вы говорите, как судья.

— Кажется, я уже говорил вам, что каждый человек сам себе судья, и высший суд — это суд своей собственной совести.

— Могу попросить вас об одной услуге — никому не передавать содержание нашего разговора?

Кецховели усмехнулся и встал.

— Не беспокойтесь.

Рунич поднялся, шумно выдохнул воздух и скривил губы.

— Я вас хочу спросить. Вы подали прошение, чтобы вас выслали в отдаленные места, не дожидаясь решения суда. Несколько необычная просьба. Чем вы ее можете объяснить?

— Моя камера по сравнению с карцером кажется мне сейчас очень приятной. А ссылка, на мой взгляд, значительно лучше камеры.

— Побольше возможности сбежать и снова бросать бомбы, убивать?

— Я не сторонник террора. Это убеждение, к которому я давно пришел.

— Как вас понять? Вы что, отказываетесь от борьбы?

— Борьба с теми, кто не дает дышать народу свободно, — святое дело, а святыню не попирают ногами.

Рунич пожал плечами, деланно усмехнулся и вышел из карцера.

Унтер-офицер и надзиратель о чем-то лениво переговаривались. Рунич протянул надзирателю кувшин и, тяжело дыша, помчался по коридору. Он был уже совсем трезв. Какого черта, в самом деле, он приехал сюда! Офицер, помощник начальника губернского жандармского управления сидел в карцере на кувшине и изливал какому-то эсдеку душу и услыхал от него... Можно ли представить себе, чтобы прадед, сопровождая клетку с Пугачевым, вдруг вошел бы ночью в клетку, стал рассказывать Пугачеву о себе и, как мальчишка, слушал бы бунтовщика?

Во дворе замка Рунич наткнулся на полковника Габаева. Возле него стояли начальник караула и разводящий унтер-офицер.

— Закончили, ротмистр? — спросил Габаев. — Как операция прошла, успешно? Долго вы что-то.

— Поговорить пришлось, — сквозь зубы ответил Рунич.

## КОНЕЦ

У Рунича стало дергаться веко. Никогда он не читал ничего более мерзкого, чем приказ командира Кавказской стрелковой бригады генерала Светлова. Полковнику Габаеву и всему батальону за молодецкий поступок часового Дергилева объявлялась благодарность. Караульный унтер-офицер Габуния награждался пятью рублями, разводящий ефрейтор Егоров — четырьмя, а рядовой Дергилев — тремя рублями. Двенадцать рублей — за убийство, благодарность за убийство, да еще публикация приказа. Это было пакостно. В добрые старые времена отец Рунича, да и все порядочные офицеры отказались бы отдавать генералу Светлову честь, а штатские перестали бы подавать ему руку. И до чего наивны люди — даже искушенные сотрудники управления. Узнав о выстреле в Метехском замке, одни предположили, что Милова снимут, а командира батальона полковника Габаева разжалуют. Другие уверяли, что козлом отпущения окажется караульный унтер-офицер, а часового отдадут под суд. Полковник Ковалевский вызвал к себе Рунича и озабоченно спросил, чем им может грозить столь досадное происшествие. Рунич объяснил, что управление в данном случае ни при чем, а с Миловым и Габаевым пусть разбирается комиссия, которую назначили для расследования обстоятельств убийства.

— Все же, — озабоченно промолвил Ковалевский, — боюсь, что хлопот не оберешься. — Рунич пожал плечами.

На другой день он увидел в приемной управления высокого плотного священника и еще двоих людей — помоложе и поразился тому, как один из них похож на Кецховели. Оказалось, что это его отец и два брата. Рунич поспешил отослать их в общий отдел. Они не могли знать, кто он, и все же ему стало неприятно. Вообще все то, что вытворяло начальство с телом покойного, было издевательством над чувствами отца. С Кецховели все счета закончились. Нельзя продолжать войну с мертвым, прятать труп, тайно, ночью хоронить. Взяти бы с отца расписку, что он увезет тело сына в деревню и там предаст земле. Ведь не стали бы эсдеки отбирать у отца тело убитого, чтобы организовать политическую демонстрацию. Хотя, кто их знает...

В конце дня полковник Ковалевский вновь попросил его к себе и бодро приказал, чтобы Рунич написал на его имя рапорт, в котором перечислил бы все, какие помнит, нарушения со стороны покойного Кецховели инструкции о содержании политических арестантов. Рунич вопросительно посмотрел на начальника. — Наверху, — улыбаясь, объяснил Ковалевский, — распорядились погасить дело. — Заботимся о Милове? — саркастически спросил Рунич. — Заботимся о добром имени, об авторитете власти, государства, — без улыбки ответил Ковалевский. — Прошу прощения, — сказал Рунич, — но более всего после Дергилева запачкал доброе имя государства генерал Светлов своим приказом. — Выражаю вам неодобрение, — буркнул Ковалевский, — раз приказ обнародован, значит... Неположено обсуждать то, что одобрено свыше. Что это у вас веко дергается? — Со мной бывает так, — соврал Рунич.

Сперва, узнав о том, что Кецховели более нет в живых, Рунич почувствовал успокоение и расслабленность. Смерть Кецховели разорвала зависимость, которую Рунич не переставал ощущать, часто думая об узнике Метехского замка, зависимость, похожую на ту, которую ощущает кадет в классе под взглядом, пусть не любимого, но уважаемого учителя.

Пришка вечером вдруг спросил:

— А правду говорят, что в тюрьме хорошего человека убили?

У Рунича снова задергалось веко. Он рассвирепел и швырнул в Гришку сапогом.

— Пошел вон! Подожди. Принеси стакан водки с ледника и соленый огурец.

Сстроив презрительную мину, Гришка вышел, принес запотевший стакан с водкой и огурчик на тарелке. Рунич выпил водку залпом, закусил огурцом и лег. Левое веко все равно дергалось. Все-таки жаль, что Кецховели застрелили. Следователь по особым делам, опросив свидетелей, установил, что к Метехи пришли крестьяне разузнать о судьбе своих близких, заключенных в тюрьму. Когда их стали прогонять, Кецховели за них заступился, он влез на подоконник, а часовой сошел с поста и выстрелил в него. Да, все причастны к этому убийству — и Дебил, приказавший, чтобы дело было раздуто, и те, кто распорядился погасить дело... Что же это Рунич себя самого вычеркнул из круга убийц? Становись-ка, ротмистр, рядом с Габаевым и Дебилем — это ты воспрепятствовал тому, чтобы Кецховели выслали в Сибирь, это ты подсказал Милову, как его упечь в темный карцер, это ты сказал Габаеву: — А вы не нянькайтесь, — или еще как-то, и, в конце концов, не ты ли создавал дело Кецховели, обманывая себя видимостью объективности и следования фактам, не ты ли с азартом, подобно гончей собаке, обнюхивал каждый его шаг, а потом, когда тебе было некуда деться, не к нему ли ты пошел за облегчением и, услышав правду, не ты ли снова стал подталкивать его к смерти?

— Ты такой же негодяй, как и все другие! — громко сказал Рунич, прижал рукой веко на левом глазу и засмеялся. Все уйдет, как вода, и позор, и злоба, и подлость, все забудется, канет в прошлое. Когда-нибудь сойдет в землю и Рунич. Неужели это правда, что все уходит? Что-то ведь должно после человека остаться?

Впервые, сколько Рунич помнил себя, ему не спалось. Основательно он все же переутомился. Надо подать рапорт об отпуске. Новых дел за ним не числится, и у Ковалевского не будет оснований задерживать его. И хватит думать, хватит вспоминать!

Он встал, растолкал Гришку, чтобы он полил ему воды, обмылся, снова лег, зажав левый глаз рукой, и наконец заснул. Во сне его что-то душило.

Утром Рунич проснулся так, как просыпался по праздникам. Он припомнил, что сегодня на самом деле воскресенье. Веко больше не дергалось.

Скрипнула дверь.

— Вставать будете? — спросил Гришка.

— Уберись.

Рунич сбросил с себя простыню. Никак лето не отступит, с утра печет, и пыль, осевшая за ночь, уже вползает в окно, как вчера и позавчера. Начнутся дожди, и она превратится в грязь. Все как в жизни — одна лишь смена и происходит — грязь превращается в пыль, пыль — снова в грязь. Да, жаль, жаль, что ухлопали этого бородатого мученика. Он был совсем еще молод, и благородство в нем чувствовалось. Дворянин, ничего не скажешь. Дворянство тоже разрушается, на каждом шагу встречаешь интеллигентов из дворян — вывихнутых или юродивых, и все они, кто на словах, кто на деле, хотят сложить голову за народ. Что же, сложат свои просвещенные головушки и вовсе переведутся, и останутся из дворян на земле одни дебилы. Мерзко, все мерзко, все надоело — и служба, и ресторан Дворянского собрания, и Ортачальские сады, и породистая морда Ковалевского, и хам Гришка.



— Гришка! Завтрак!  
Рунич сел завтракать.

— Что ты вчера нес насчет убийства в Метехи? — спросил он. — **Житомерское**  
бе сказал?

— На каждом углу говорят. Убили, говорят, доброго человека.

— Говорят, кто убил?

— Наш брат солдат, кто же еще. На водку заработал, рассказывают.

— Он выполнил свой воинский долг, — буркнул Рунич, — и его поощрили тремя рублями.

— Бога на них нет! — сказал Гришка. — А вы, ваше высокоблагородие, случаем не знали того, кого убили?

— Разболтался! Иди мундир приготовь.

Веко на левом глазу снова задергалось. Он оделся, вышел и пошел обычным своим путем, по Михайловскому проспекту, и снова, как вчера, задумался о том, что оставляет после своей смерти человек, кроме, конечно, движимого и недвижимого имущества. Что, например, останется в мире после его собственной смерти? Отца уже не будет в живых, офицеры управления сделают все, что полагаются сделать в случае смерти сослуживца, — явятся на панихиду, на отпевание, взвод солдат трижды пальнет в небо. Никто и слезы не уронит, разве что дурак Гришка... И все? Голову можно дать наотрез за то, что город даже не заметит ухода из жизни офицера отдельного корпуса жандармов Рунича.

Рунич дошел до переулка, в котором находилась парикмахерская старика-поляка, и его обуяло любопытство посмотреть, как старик встретит его. Что если не только заглянуть к нему, но и войти как ни в чем не бывало, сесть в кресло и подставить шею под бритву? Риск не велик, просто пощекотало бы нервы, ибо старикан второй раз не решился бы. Жалкий человек, зря Рунич так сильно ударил его тогда. Извиниться перед ним, что ли? Поздороваться, сказать: что было, то было, господин... как его? Что было, то было, пан, я зло шутил с вами, сознаюсь и каюсь, но и вы хороши — чуть человека не зарезали, забудем о прошлом оба и не станем таить в сердце зла. Тьфу, слюни какие-то! С достоинством козырнуть: — Я был неправ, пан, приношу свои извинения, — и выйти. Лучшего не придумаешь. И мера будет соблюдена, и...

Рунич подошел к раствору, в котором помещалась парикмахерская, и увидел разобранную стену и двух рабочих-каменщиков, укладывающих кирпичи. Надписи «Исключительно для господ. Парикмахер из Варшавы» не было. Кажется, старикан предпочел за лучшее подобру-поздорову унести ноги. Что ж, значит, не зря Рунич дал ему кулаком по морде. Наверное, негодяй удрал к себе, в Варшаву. Бог с ним.

— Эй, вы, — спросил Рунич у рабочих, — куда парикмахерская делась?

Старик-каменщик выпрямился, покосился одним глазом — на втором у него было бельмо — в сторону Рунича и медленно, подбирая русские слова, ответил:

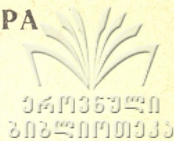
— Нету. Больше нету. Хозяин на веревка себя повесил. Знаком был?

Рунич кивнул, круто повернулся и зашагал обратно, к Михайловскому проспекту. *Finita la kommedia*<sup>1</sup>, — так, кажется, говорят итальянцы. Опять задергалось проклятое веко. Не хватало еще подумать, будто он сопричастен и к смерти парикмахера. Чуть какая! При чем тут он? Все — вращение жерновов жизни, немолимых и равнодушных.

Будь Кецховели жив, Рунич, наверное, махнув на все рукой, снова поехал бы в Метехи и рассказал обо всем, что тяжело, как у больного в жару, ворочалось в голове, но Кецховели лежит на кладбище. Не верится в это...

Рунич резко остановился и посмотрел вокруг себя ничего не видящими, вдруг обезумевшими глазами. Неужели это возможно? Неужели одни и живут мертво, а другие, как Кецховели, даже погибая, не уходят из жизни?

<sup>1</sup> *Finita la kommedia* — комедия окончена.



## ЧЕШСКАЯ РАПСОДИЯ

ПОВЕСТЬ

Намдауровские рабочие прислали Киквидзе телеграмму: «В Тамбове офицеры и кулаки подняли антисоветский мятеж и захватили город, убивают большевиков и активистов Совета. К мятежникам присоединилась часть личного состава первого тамбовского стрелкового полка». Из Саратова звонил председатель губернского Совета, просил Киквидзе подавить тамбовский мятеж. Получив это известие, Киквидзе заскрипел зубами. «Вот почему Тамбов не выходит на телеграфную связь. Молчит и Царицын», — подумал Василий Исидорович. Три дня тому назад по пути на Алтай у Киквидзе останавливался давний друг Разживин — товарищ по оружию с 1917 года. Вскоре после визита Разживин телефонировал ему о том, к чему готовятся эсеры в Тамбове. Вечером в этот день приехал съездной. У Киквидзе еще более потемнели глаза. Семен Веткин — начальник штаба дивизии — налил запыхавшемуся курьеру стакан воды и дал закурить. Киквидзе мрачно глядел, как молодой, высокий конник жадно вдыхает табачный дым и как постепенно бледнеет его непомерно покрасневшее, загорелое лицо.

— Когда это началось? — спросил начдив.

— Вчера, — ответил курьер, — но в пути меня застигла ночь и я задержался. В здешних местах бродят казацкие разведки, вероятнее всего из Урюпинска.

— Благодарю вас, товарищ, за самоотверженность. Доложите командарму, что завтра ночью я буду в Тамбове и немедленно начну штурм. Если бы я получил в помощь бронепоезд, то к утру Тамбов мог бы быть наш. Было бы хорошо известить обо всем товарища Сиверса, чтобы он напрасно не ждал нас.

— Товарищ начдив, прошу вас, напишите это товарищу Сиверсу. Я еду к нему и ваше письмо доставлю.

Василий Исидорович приказал созвать командиров полков. Норберт Книжек все еще не возвратился из Тамбова, и вместо него был вызван Вацлав Сыхра. Его разбудили, и он зябко кутался в короткую кожанку, подняв воротник. В вагоне начдива шло партийное собрание. Коммунисты штаба сидели тесной группой. По их лицам видно было, что они внимательно слушают Киквидзе. Начдив заканчивал свою речь:

— Нам нужно быть готовыми к решительным действиям, — говорил начдив. — Нам будет ждать перед городом. Я написал Сиверсу, что мы будем наступать с юго-востока, а его я просил ударить с запада.

Собрание закончилось. Предстояло совещание командиров.

Натан Книшев указал Сыхре на свободную табуретку возле себя и шепнул:

— С Урюпинском пока дело не вышло. Едем в Тамбов.

— За Книжеком? — ехидно спросил Сыхра.

Тяжелым от бессонницы взглядом Василий Исидорович Киквидзе пробежал по лицам командиров полков. Они расселись где попало. Кавалерийские командиры остались стоять. Все напряженно ждали. Киквидзе коротко сообщил, что случилось, и тут же разъяснил, зачем он их собрал. После этого начдив сказал:

— Приказываю: со мной пойдут чехословацкий полк, кавалерийский дивизион и легкая батарея, полк рабоче-крестьянский, пятый замурский и твой две батареи, товарищ Борейко. Командовать ими будешь сам. Рана на голове у тебя уже не болит?

— Это делу не мешает, — ответил молодой украинец.

— Хорошо, очень хорошо, — сказал начдив. — Остальные полки остаются в Поворино в боевой готовности, ибо нам вовсе не нужно восстание еще здесь. Кто знает, не попытаются ли казаки атаковать Поворино. Меня здесь замешать будет товарищ Медведовский. Мы двинемся по железной дороге через Балашов. Это триста верст, и мы должны проскочить их за день. Ведь белые свирепствуют и убивают в Тамбове наших людей. Командиры полков, которые остаются тут, не должны говорить о цели нашего похода даже своим замести-

телям. Ясно? — Киквидзе перевел взгляд с одного на другого. Рука его непроизвольно опустилась на кобуру с пистолетом.

Командирам все было ясно: Тамбов не может, не должен оставаться в руках контры. Это было бы угрозой тылу Красной Армии, осуществляющей операции на Воронежском и Царицынском фронтах. Пятый кавалерийский полк отбывался раньше других частей. Он и имел своей задачей выгрузиться из вагонов перед Тамбовом и подготовить охрану пехоты и артиллерии. Эшелоны чехословацкого и рабоче-крестьянского полков и дивизион артиллерии Борейко отправившись из Алексикова на рассвете.

В Балашове необходимо было загрузить паровозы дровами и набрать воду. У начальников эшелонов было много хлопот, так как машинисты и кочегары не были достаточно проворны. Начальник станции кричал на своих служащих, торопил их с заправкой паровозов, однако время шло, и Киквидзе нервно ходил по перрону. Два драгоценных часа были потрачены на подготовку эшелонов к дальнейшему следованию в сторону мятежного Тамбова.

Василий Исидорович вошел в свой вагон и стал смотреть в окно, отыскивая задержавшегося Войту Бартака. Киквидзе увидел его: Войта с телеграфной лентой в руке пробирался между гражданскими пассажирами.

Эшелон тронулся.

— Наконец-то едем, — приветствовал Войту Киквидзе. — Эти типы на железной дороге — подлецы. Я бы их заменил, но где взять других? А зачем ты забрал у них телеграфную ленту, Войташа?

Войтех Бартак молча подал бумажную полоску начальнику дивизии. Василий Исидорович медленно читал телеграфные знаки, и лицо его становилось все жестче и жестче. Он вдруг закрыл глаза и снова открыл их. Затем опять прочитал по слогам: «Губ-воен-ком Разживин подвергся нападению и убит — начальник станции».

— Когда это пришло? — спросил Киквидзе.

— Только что. Я увидел, что на станции это сообщение хотят размножить, и решил забрать оригинал. Паника нам не нужна.

Василий Киквидзе молча кивнул в знак одобрения и снова прочитал телеграмму. В уголках его глаз заблестели слезы. Бартак тихо вышел из купе. Ему тоже было не по себе. Бодрый, красивый Разживин, воплощение смелости и командирского разума, загублен. Кто мог его предать, каким поездом едет предатель? Бартак постоял у окна в коридоре, а потом тихо возвратился обратно к Киквидзе. Начдив прислонился головой к стене вагона и пристально глядел вперед.

По прибытии чехословацкому полку было приказано занять тамбовский вокзал и прилегающие улицы. Полк немедленно выступил.

Сыхра ехал за головным дозором. Вацлав курил и размышлял. Он знал, откуда надо вторгнуться на вокзал. Привокзальный район этого города был ему знаком, точно родной Либерец, но как охраняют этот район мятежники?

— На вокзал достаточно одного батальона, — сказал Сыхра Голубиреку. — Ты возьми на себя захват улиц.

Василий Киквидзе остался у воинского эшелона. Войта Бартак выслал вперед чешскую конную разведку. Подразделения рабоче-крестьянского полка расположились пока что в ложине, тянувшейся от железной дороги до степи. Разведка Аршина Гавзы возвратилась. Она не встретила ни одного казака, только с запада слышала стрельбу. Долина тоже приехал вскоре. Он видел Тамбов с близкого расстояния. Возле города спокойно, но в городе — непрерывная стрельба. Конядра же кружным путем оббежал вокзал, а потом послал Шаму и певуна Костку, чтобы они заглянули в улицы. Им, однако, пришлось от железнодорожной станции повернуть обратно, потому что на привокзальной площади, заполненной толпой зевак, повстанцы убивали связанных мужчин, одетых в рабочую спецодежду. Перед рассветом появились Петник и Ганоусек и привезли с собой пятнадцатилетнего мальчишку. Ганоусек случайно обнаружил его в зарослях боярышника около пыльного полевого большака, упирающегося в пригородные сады. Мальчик не хотел говорить и весь трясся. Ганоусек посадил его впереди себя на коне. Мальчик испуганно глядел на лагерь красноармейцев, не понимая ничего из того, что видел. Только когда, наконец, понял, что это воинские части, которые идут на выручку Тамбову, краска вернулась на его впалые щеки. Он рассказал, как офицеры вешали большевиков на деревьях перед домами, в которых они их находили, — мужчин, женщин, все равно. Вешали нагих. А остальных жителей выгнали на западную границу города и заставляют копать окопы. Мальчик сбегал с этих работ. Помогать белым не хочет.

— А ты не знаешь, кто присоединился к мятежникам? — спросил Киквидзе.

Мальчик задумался. Черные глаза начдива и, вероятно, короткая кожаная куртка, перетянутая ремнем с тяжелой кобурой, смутили подростка.

— Говори, говори, парень. — ласково обратился к мальчишке Натан Гинцев и дал ему большой кусок сахара. — У нас нет времени.

— С белыми идут разные люди. Я даже удивился, — неуверенно начал мальчишка. — Почти все студенты и молодые кулаки из ближних деревень. За день до восстания был большой базар, кулаки приезжали на подводах, а ружья попрятали под соломой. Я даже пулемет видел у одного. Потом, как говорят, к ним перебежала половина тамбовского красного полка.

Киквидзе сидел на большом камне и ладонью тер подростковую бороду.

— Не будем далее ждать. Выступаем! — сказал начдив. — Чехословацкий полк уже наверняка на подступах к городу.

Командир кавалерийского полка, стройный голубоглазый Звонарев, обратился к Киквидзе:

— Товарищ командир дивизии, я тоже думаю, что пора выступать. Пусть мой полк вперед. Мы вспугнем тамбовских ос из их гнезд, а когда в город войдут чешские стрелки, видно будет, кому сунуть штык под нос.

Василий Исидорович быстро поднялся. Подросток испугался и отскочил от него.

— Не будь таким пугливым! — сказал Киквидзе и повернулся к Звонареву:

— Товарищ, выполняйте свое предложение. Я именно и хочу, чтобы осы вылезли из своих гнезд. А вы, товарищ Бартак, поедете с чешскими конниками со мною в эшелоне.

Внезапно мальчишка громко рассмеялся. Киквидзе на него посмотрел сурово:

— Что тебя развеселило?

— Ваше благородие, белые ждут Красную Армию по железной дороге в бронепоездах. Где им додуматься, что вы так-то! Ну уж и попрыгают они! В городе вы получите подмогу. На металлургическом заборрикадировались рабочие и ждут киквидзевскую дивизию. Мой папа тоже там. У рабочих осталось только немного сахара и десять винтовок. Вам бы нужно поспешить на завод прежде всего. Это неважно, что вы не киквидзевцы, что Киквидзе придет завтра. Ребята рады будут каждому красноармейцу.

У Василия Исидоровича засияли глаза.

— Ты говоришь, что они Киквидзе ждут завтра? Утром или когда? — спросил командив.

— Вечером или ночью. Киквидзе ведь далеко от Тамбова, — ответил подросток.

Головной отряд Звонарева уже исчез из поля зрения. За ним на рысях пошли три эскадрона кавалерии. Киквидзе вскочил в свой вагон. Чешские конники завели лошадей обратно в теплушки.

Тьма редела. На бархате небесного свода мерцали утренние звезды. Войта сказал:

— В тамбовской больнице мне попала в руки интересная книжка, история трехсотлетнего Тамбова. Кто знает, не потому ли этот край такой плодородный, что его земля пропитана кровью нападавших и защитников.

— Не знал я, друг, что ты такой поэт, — заметил Киквидзе. — Мне это нравится. Воину нужно вдохновенное сердце. Это важно и для истории. Когда мы в России с белыми генералами покончим, повезу тебя к нам. Там ты узнаешь, почему мы, грузины, любим свою родину. — Киквидзе улыбаясь прищурил глаза и внимательно посмотрел на Войту.

Тамбовские мятежники не ожидали красноармейцев так быстро. Тем более повстанцы не думали, что Красная Армия нагрянет с двух сторон. О частях Сиверса мятежники знали, но Киквидзе они так скоро не ожидали. Против Сиверса белые предприняли контратаку, однако остановить бригаду не смогли. Повстанцам ничего не оставалось, как отступить в сады предместья и к остаткам старого крепостного вала. Кавалеристы Звонарева ударили по мятежникам с тыла. Тяжело было красным конникам с саблями в руках воевать среди деревьев. Борейко выпустил несколько снарядов по городской площади. Артиллерийская стрельба, ржание коней, стоны раненых на улицах страшно напугали обывателей. Они забились в погреба и подвалы.

Ондру Голубирека удивило, что в городе воюют на всех улицах. Незнакомые красноармейцы с неистовым гневом врываются в дома, из которых по ним стреляли повстанцы. Убитых мятежников красноармейцы потом выбрасывали из окон на улицу. Ондра задержал светловолосого солдата с командирской красной лентой на рукаве.

— Я из первого тамбовского, — ответил боец. — Офицеры нас обманули. Они объявили, что не тронут Советы. Теперь мы раскусили офицеры!

— Ваше счастье, — ответил комбат.

Боец яростно махнул рукой.

— Дураки мы, позволили себя обмануть. Нам говорили, что они хотят с нами сотрудничать, а офицеры арестовали всех депутатов Совета, большевиков и меньшевиков. Мы Советскую власть освободили и взялись за мятежников. Ну, ты сам видишь, что проклятый Тамбов — это сплошное поле боя. А ты, случайно, не из дивизии Киквидзе? В верхней части контру бьют стрелки Сиверса.

Добровольцы Голубирека окружили их, спрашивали комбата, что случилось. Солдат тамбовского полка понял, что перед ним чехи. Он поднял над головой винтовку и закричал:

— За мной, братья, у крепостного вала идет ожесточенный бой, и ваши из сиверсовской чешской части будут вас приветствовать как помощь с неба. Потом мы обо всем поговорим.

Вскоре возле Голубирека оказался весь его батальон.

— Куда мы так торопимся? — спросил низкорослый, коренастый чех своего усамого соседа.

— К чехам Сиверса на помощь. Ты не задавай вопросов, а прибавь шагу.

Вацлав Сыхра с первым батальоном второго полка занял вокзал. Начальник станции даже не успел выхватить пистолет. От дежурного по станции комбат узнал, что от Селезния идет поезд, в котором едут вооруженные люди на помощь тамбовским мятежникам. Курт Вайнерт сказал, что с ротой Бартака двинется навстречу поезду. Сыхра оставил в канцелярии вокзала несколько добровольцев, а сам вышел на перрон. Дежурный по станции остановил его и, приложив руку к козырьку, сказал:

— Товарищ командир, у нас здесь есть рабочий поезд, он нагружен шпалами и рельсами. Захватите его, и вы за самое короткое время будете у Селезния. — Дежурный был молодой человек с выразительным волевым лицом.

— Курт, — обратился Сыхра к Вайнерту. — Тут есть что-то для тебя. — Немец молча козырнул, стукнув каблуками, и поспешно пошел к рабочему составу. Дежурный сопровождал его. Паровоз поезда был наготове. У Курта кровь застучала в висках. В дальнейшем он командовал так, как будто это происходило на учениях.

Поезд из Селезния ему удалось остановить перед Тамбовом, сделав заградления из шпал и рельсов. В первых вагонах были эсеры, анархисты и белогвардейцы. Они выскочили из вагонов с бранью и попытались наброситься на чехов-красноармейцев, но бойцы открыли огонь. И из других вагонов прибегали офицеры с пистолетами в руках и смешивались со своими.

В поезде поднялась паника. Пассажиры, не имевшие отношения к мятежу, высыпали из всех дверей, таща вещи и детей в поле, подальше от боевой схватки. Убежали и отдельные мятежники, бросая свои винтовки и шашки. Курт Вайнерт стрелял в офицеров, но затвор в его карабине вскоре перекошило. Он отбросил карабин и поднял с земли немецкую винтовку с широким штыком. Трое чешских стрелков захватили «максим», брошенный анархистами, и повернули пулемет против белогвардейцев, устремившихся за насыпь, где кипел рукопашный бой.

Тем временем из Уварова в Тамбов прибыл поезд Василия Киквидзе. Начдив немедленно сел на коня и во главе чешских кавалеристов поскакал к городской тюрьме. Здесь конники спешились и после короткой схватки с охраной ворвались на тюремный двор. Ян Шама отобрал у начальника охраны ключи и с громким криком бросился отпирать камеры. Заключенные выбегали, обнимали и целовали киквидзевцев — своих освободителей.

Бартак догнал Киквидзе на площади, где горело несколько домов. Сюда же прибыли вооруженные и безоружные рабочие с металлургического завода. С неистовым «ура» они бросились на базарную площадь, где бойцы интернациональной роты Сиверса бились с повстанцами. Возникла резня. Металлисты, не имевшие оружия, били офицеров молотками, обрезками труб и отбирали у беляков винтовки.

— Славно, храбрецы! — кричал им Киквидзе. Пуля задела ему левое плечо, он чувствовал, что плечо кровотоцит, но выхватил шашку из ножен и присоединился к рабочим. Кавалеристы Бартака следовали за ним по пятам. Металлисты, увидев, что у Барборы в руках развевается Красное знамя, бросились на мятежников с еще большей решительностью. С ближайших улиц прибегали новые и новые группы офицеров с золотыми и серебряными погонами на плечах и пытались окружить красноармейцев.

Василию Киквидзе пришлось все же позволить фельдшеру перевязать раненое плечо.

— Быстрее, быстрее, — ворчал Василий Исидорович, — у меня для тебя нет времени. Я тороплюсь узнать, как идут наши дела на вокзале?

Беда Ганза услышал это и немедленно вызвался разведать обстановку на станции. Начдив разрешил.

Вацлава Сыхру Ганза нашел на перроне. Курт Вайнерт с забинтованной рукой как раз докладывал батальонному командиру о ходе столкновения с мятежниками из Селезня. Курт был весь взмыленный, запыхавшийся, из длинного шрама на его лице текла кровь.

— Доложи товарищу Киквидзе, — велел Сыхра Ганзе. — Первая рота ликвидировала вооруженную подмогу, ехавшую поездом из Селезня. Это сделал Курт, а из Козлова к нам посланы матросы. Как только придут — включим их в бой в городе. Прошу дать указание, в каком именно месте. Доложи также, что с час тому назад на вокзал прибыл генерал Половников и отдал себя под нашу охрану. Он не согласен с повстанцами и ничего общего с ними не имеет. Я не верю ему, я запер его в зале ожидания и приставил к нему трех часовых.

Аршин протяжно свистнул.

— О черт. Вот это бомба!

На базаре Киквидзе присел на ящик из-под овощей. Около него стоял Войтех Бартак. Ганусек поодаль держал их лошадей и глядел на убитых в бою людей, которых обыватели, выгнанные из ближайших домов, сносили на площадку перед внушительным зданием. При этом красноармейцев и рабочих-металлистов клали отдельно.

Восстание в Тамбове было подавлено. Начался суд над мятежниками. Командир пятого кавалерийского полка Звонарев попросил у Сиверса и у Киквидзе разрешения председательствовать на суде. Приговоры приводили в исполнение его же кавалеристы. Чехословацкие стрелки группами разошлись по домам и из погребов и с чердаков выводили офицеров и эсеров. Среди населения нашлось достаточно людей, которые добровольно показывали стрелкам, где мятежники скрываются.

В кафе на площади, в каморке кухонной прислуги, бойцы нашли своего связанного полкового командира Книжека. Освобожденного Книжека привели в особняк генерала Половникова. Генерал сидел в салоне. Тут же были Киквидзе, Кнышев, Сыхра, Бартак. Когда красноармейцы ввели Книжека, генерал изумленно вскричал:

— Ох, причинили же вы мне заботу! И, как вижу, получили вы изрядно. Вы должны нам все рассказать, но прежде присядьте. Водки угодно?

Норберт Книжек жадно выпил и медленно опустился на стул. Его красивое лицо посинело и выглядело усталым. Он рассказывал, что сидел в кафе, вдуровались офицеры, с которыми он тут раньше выпивал, и увели его в подвал. Избили, потом связали и набросили на шею петлю. Уходя, они ему сказали, чтобы он пока попривык к веревке.

— Вам, надеюсь, не очень намяли бока, товарищ Книжек? — спросил Киквидзе.

Норберт Книжек сделал кислую мину.

— Вы же видите, товарищ начальник дивизии.

— А где пополнение для вашего полка?

— Имел я в сборе уже тридцать человек, но когда началась эта заваруха, я приказал им скрыться, куда сумеют. — Книжек поймал недоверчивый взгляд Вацлава Сыхры, и слова у него словно застыли на языке. Но тут же Книжек собрался с духом и добавил: — Через недельку я их приведу в Алексиково, надеюсь, что соберу их опять.

— Ладно, сделайте это. Пополнение нам понадобится, — сказал Киквидзе. — А дочери его превосходительства Половникова не показывайтесь на глаза. У вас безобразный вид.

Киквидзе передал Тамбов Сиверсу, а сам вернулся в Поворино. На следующий день, вместе с чехословацким и другими полками, начдив отправился в Алексиково. Здесь бойцы залечивали раны, ходили в кино и в кабаки, праздновали скороспелые свадьбы. Городок опять принадлежал им. Самуил Медведовский уехал в Москву на съезд Советов. Секретари парторганизаций созывали митинги с докладами о положении на фронтах. Только поход на Урюпинск прервал идиллию.

На горизонте показался город Урюпинск. Василий Киквидзе в сопровождении адъютанта и командиров приехал на сивом коне в чехословацкий полк. Его молодое энергичное лицо, обросшее черной как уголь бородой, было озарено. Полковой командир Книжек шагал рядом и пространно излагал начдиву, как он, Книжек, представляет себе операцию по захвату города.



— Я бы предпринял кавалерийский налет с фланга, а стрелки-пехотинцы осуществили бы лобовую атаку. Один батальон остается в резерве.

Командиры батальонов Голубирек и Сыхра слушали Книжека молча, по их глазам было видно, что они не согласны.

Киввидзе энергично сказал:

— У меня иной план, товарищ Книжек, используем австрийскую тактику. Окружину города атакуем сначала левым флангом вашего полка, затем ударим правым, а вслед за ним выступит центр. Шестой замурский полк будет прикрывать атаку левого фланга. Понимаете, товарищ Володин? На левом фланге будет находиться и чешская батарея. Ваш полк, товарищ Звонарев, будет прикрывать правый фланг чехов. В Урюпинск я хотел бы войти до сумерек. Я останусь в батальоне товарища Сыхры. Вы, товарищ Книжек, идите на правый фланг, в роту Бартака. Если надо будет, товарищ Бартак ворвется в город со своими конниками. Полк товарища Звонарева после взятия города останется в резерве около города, охраняя нас от возможного нападения из степи. Ну вот все. Зря не стрелять, но никого и не щадить. По местам, товарищи!

— А бронепоезд? — спросил Книжек.

— Он выполнил свое и теперь возвращается, — сказал Киввидзе. — Жаль, нам бы нужна была его артиллерия, но Маруся не хочет задерживаться. Ее царицынский начальник не имеет желания с нами идти дальше, поэтому она возвращается в Царицын к Носовичу.

Стрелковый полк выступил вперед. Чешская кавалерия ждала. Полковой командир Книжек шел к стрелкам. Поодаль с самокруткой из махорки в зубах шагал Вацлав Сыхра. Он небрежно придерживал шашку и сосредоточенно смотрел вперед. Начдив Киввидзе шагал возле него, сопровождаемый адъютантом и штабными связными. Кавалеристам Бартака был хорошо виден фланг Голубирека и сам Голубирек. Он придержал своего коня посреди батальона и что-то кричал солдатам у тачанок. Тачанки повернулись стволами пулеметов в сторону города, и в тот же момент послышались первые выстрелы.

— Дамы и господа, беседа начинается, — вскричал певец Костка. — Какое, собственно, сегодня число?

— Двадцатое июля тысяча девятьсот восемнадцатого года, — ответил ему верзила Ян Шама и вскочил на своего серого в яблоках.

Урюпинск тоже отозвался. Белые обстреливали цепи стрелкового полка, но красноармейцы наступали стеной. Книжек приказал установить большой интервал между наступающими бойцами. Вацлав посмотрел на Бартака. Войта вел за собой свою роту в угрюмом молчании. Сыхра произвольно обратил свой взор на то, прикрывает ли кавалерийский полк фланги пехоты, и вдруг вскрикнул: из ложины, в которой полчаска тому назад исчез бронепоезд, ринулись казак, словно всплыли из реки Хошер. Белый флаг трепыхался в летнем предвечернем свете. Казаки мчались галопом, пики их были направлены на кавалерийский полк Володина, находившийся на левом фланге красноармейской пехотной линии.

— Атака с тыла! — крикнул Войта. Как разъяренный зверь, он повернулся к Курту Вайнерту, махнул ему рукой, чтобы тот принял на себя командование пехотинцами роты, и вскочил на коня. Чешские кавалеристы уже ждали его.

У Василия Киввидзе молнией сверкнули глаза. Он вскочил на коня и помчался к батальону Голубирека. Голубирек уже знал о нападении и приказал повернуть тачанки и орудия против казаков. Белоказак дали первый залп и мчались дальше прямо на полк Володина. Володин свалился с коня с пулей в груди. Его заместитель даже не успел выхватить шашку и тоже был сражен. Пулеметы пехотинцев стреляли в казаков, но из ложины выскакивали все новые и новые эскадроны. Красные кавалеристы после гибели своего командира расстроянными рядами начали отступать вдоль фронта пехоты на правый фланг. Они таким образом ускользнули от окружения казаками, но левый фланг батальона Голубирека и артиллерийская батарея остались обнаженными. Батальонный кричал на кавалеристов Володина, но конники мчались, очертя голову. Пулеметы и орудия Голубирека сносили первые ряды казаков, но налетали новые и новые шеренги, и их черные пики сомкнутым строем влились в ряды стрелков. Казацкие пики и кони повалили на землю оба крайних звзда — чешский и сербский и перебили орудийные расчеты батареи. Под Голубиреком пал конь. В мгновение ока Голубирек лег за пулемет, оттолкнув убитого пулеметчика, и открыл огонь. В этом страшном хаосе и реве Сыхра сумел повернуть огонь своего батальона на помощь Голубиреку, но большего он сделать не мог. Вот, к счастью, в рядах бойцов Голубирека появился комиссар Книшев. Издали была видна его кожаная куртка. Книшев поднял над головой винтовку со штыком. Тут же огонь стрелков усилился. Коничек был ранен в плечо. Войта Бартак

со своими кавалеристами наскочил на группу казаков, которые прямо с лошадей расстреливали остатки батальона Голубирека. Певец Костка выгнулся вперед, а Даниел — за ним. Рубя шашками направо и налево, они наносили смертельные удары по врагу, но вдруг очутились одни между казаками. На Костку пал хорунжий сбоку и выстрелил. Отын Даниел бился дальше один.

Киквидзе и его адъютант старались остановить кавалеристов Володина. Василий Исидорович, красный от гнева и досады, кричал:

— Товарищи, что вы делаете? Трусы вы! Стыд и срам! Так покинуть красный полк! — Но голос его слышали лишь те, что были поблизости. Начдив оглянулся, где Бартак? Войта Бартак, окруженный своими кавалеристами, рубился с казаками. — Вот так это делается! — вскричал Киквидзе, указывая заамурским всадникам на чешских кавалеристов.

Шестой кавалерийский полк проскакал около линии пехотных стрелков к пятому кавалерийскому полку, который ожидал приказа начдива. Киквидзе старался добраться до Звонарева, но кавалеристы шестого полка попали туда раньше и вызвали среди воинов Звонарева панику. Лошади их испугались, всадники потеряли хладнокровие и, раньше чем Василий Киквидзе очутился между ними, увлекли с собой и эскадроны Звонарева, которые противостояли казакам. Остановились красные конники лишь на высоте возле береговой рощи, но на подготовку обороны не было уже времени. Героя Звонарева сразила пуля — его и его коня. Казаки набросились на кавалеристов всей силой и за четверть часа разогнали их по степи, а потом обрушились на чешских красноармейцев. Чехословацкий полк был весь обнажен, о проникновении в Урюпинск нечего было и думать. Комполка Книжек бегал около рот и призывал добровольцев не поддаваться. «Создадим круговую оборону», — осенил Сыхру. Он послал связного к Голубиреку и Бартаку, доложил начдиву о своем намерении. Киквидзе резко повернулся в седле и крикнул связным:

— Поторапливайтесь!

Сыхра сам выполнял свой план. Он стягивал правый фланг полка, приказывая бойцам стрелять в каждого казака, который приблизится на ружейный выстрел. Казаки уже не отваживались на фронтальную атаку, но, как осы, нападали мелкими группами на стойко оборонявшихся красноармейцев. Киквидзе ругал оба кавалерийских полка и заботливо глядел, живы ли еще Сыхра, Бартак и Голубирек. Сыхра на краю правого фланга, прикрываясь пулеметным огнем, вел бойцов на казаков и приближался к левому флангу полка, который в свою очередь приближался к нему.

— Мы должны пробиться во что бы то ни стало, — сказал Киквидзе Сыхре и Голубиреку. К начдиву прискакал Войта Бартак со своими кавалеристами.

— Пока никаких атак не предпринимать, — приказал начдив. — Кавалеристы мне понадобятся на обратном пути. Кто ведет твою роту?

— Курт Вайнерт.

— Останешься здесь, при мне, Войташа Францевич, — сказал Киквидзе. Чешские кавалеристы слезли с коней. Киквидзе кивнул Ганзе. — Передайте батальонным командирам. Мы должны пробиться из окружения любой ценой. Экономить патроны и стрелять по верным целям. Казаки хитрецы, они дразнят нас набегами, чтобы мы растратили боеприпасы, потом они нас могли бы переколоть пиками. Чехословаки хладнокровны и стойки в бою. Они поймут, что мне нужно. Пробьемся к железной дороге, а потом будем отступать к Алексикову. Надеяться мы можем лишь на себя и на то, что скоро настанет кромешная тьма.

Полк в эллипсообразном построении двинулся к железной дороге. Казаки эту хитрость поняли и попытались проломить эллипс, но красноармейцы стойко оборонялись. Там, где против красноармейцев ополчались казаки, между бойцами появлялись Киквидзе и Бартак, они ложились в цепь вместе с рядовыми и стреляли из карабинов в нападавших. Сыхра и Книжек были в голове отступающего полка. Голубирек и Книжечек с забинтованным плечом держались на заднем овале эллипса и пулеметным огнем сдерживали натиск казаков. Быстро смеркалось, стрельба потеряла смысл. Наезды казаков постепенно прекращались.

Василий Исидорович Киквидзе сел на коня и приказал идти в обратном направлении по дороге, по которой утром наступали.

В Алексикове их ожидал тяжелый сюрприз: поездов шестнадцатой дивизии на станции не оказалось. Начальник станции доложил начальнику дивизии Киквидзе, что вчера, около полуночи, прискакали два кавалерийских полка, погрузились в эшелоны и уехали в направлении на Грязи. Через Поворино они еще не проследовали.

— Но здесь оставался стрелковый полк. Куда он девался? — вскричал начдив.



— Уехал с ними.  
— А артиллеристы?

— Стоят на площади в боевой готовности к стрельбе. Товарищ Барбора отказался ехать, пока не получит ваш письменный приказ.

Василий Исидорович зло выругался. Чехословацкий полк имел жалкий вид. Да и все остальные подразделения также нуждались в отдыхе, у всех бойцов и командиров подламывались ноги, все они шатались от усталости. Воины засыпали на полуслове. Киквидзе, Кнышев, Книжек, Сыхра и Голубирек сели в кружок между бойцами.

— Что будем делать? — спросил Киквидзе.

— Я советую заполучить эшелоны и ехать в Филоново. Здесь мы не удержимся, — ответил Книжек.

— Ваш совет не так неосуществим, как плох, товарищ, — ответил Киквидзе. — Начальник станции сказал, что наши эшелоны ушли по направлению к нему, на Прязи. Там где-то Сиверс. Наши полки подадутся к нему, но я ведь этого не разрешал. Мы должны эшелоны задержать.

— Бартак их настигнет, — предложил Кнышев.

Войтех Бартак по приказу начдива утром выступил вдоль железнодорожной колеи, по заданному маршруту.

Дорога вдоль линии была песчаной. Клубы пыли поднимались высоко к небу. Первые десять верст проехали при ярком солнце, но потом небо посерело и в степи похолодало. На горизонте показалась деревенька. Бартак остановился.

— Аршин, взгляни, что там! Власта поедет с тобой, — приказал Войта.

Из трубы одной деревенской хаты повалил дым. Разведчики остановились в двадцати шагах от деревенских гумен.

— Подожди тут. Я погляжу сам, — сказал Ганза.

Возле первой избы он придержал коня и заговорил со старухой, несшей ведро с водой. Пораженная, она поглядела на него из-под посиневших век и только через мигу проговорила:

— Слава богу, нет у нас ни белых, ни красных. От обоих только одна напасть.

— Мать, если мы вам поверим, не заплатим за это головой?

— Вы не русский, чего ради совать вам голову в наши свары, — ответила женщина. — Если бы вас было даже сто, никто вас не тронул бы, разве только если бы вы начали убивать.

— А эшелон с красными вы не видели?

— Под утро были тут, набрали воду на кашу и поехали дальше. Только ворот изломали. Кто нам его исправит? А дочка говорит, что какие-то эшелоны стоят в четырех верстах отсюда на железной дороге у реки. Поят лошадей и ищут дрова для паровозов.

— Привет вашей дочери, мать, — воскликнул Аршин и поехал к Барборе. Они погнали коней к отряду. Войта Бартак уже начинал терять терпение, но, увидев, что Ганза и Барбора машут руками, поехал к ним.

На потемневшем вечернем небесном своде показалась первая звезда. Барбора с Ганзой ехали в дозоре и вскоре увидели темные силуэты эшелонов. Барбора так и рванулся вперед. Это были эшелоны шестнадцатой дивизии. Бойцы третьего рабоче-крестьянского полка стояли около теплушек и говорили о разгроме чехословаков. Барбору и Ганзу они приняли за посыльных, а потому и не проявили к ним интереса. Только когда примчался Бартак со своими конниками и тачанкой Лагоша, к ним выскочили командир полка Серегин и его заместитель. Бартак поручил Долине взять с собой двадцать кавалеристов и доставить начальнику дивизии в Алексиково донесение. Командир пехотинцев попросил Бартака в свой вагон, где рассказал все по порядку.

## «ЗОЛОТЫЕ ХОЛМЫ»

Имя Станислава Куняева хорошо известно любителям поэзии. Вокруг его творчества часто разгораются споры и дискуссии. Стихи его могут нравиться или не нравиться, но к ним трудно остаться равнодушным, ибо нацелены они всегда на то, что волнует современного «жителя Земли». Для Ст. Куняева само это понятие — житель Земли — очень вместительно. Оно включает в себя непременно привязанность к родному углу и такое же неперемненное уважение к чужому краю. Выявление специфики, своеобразия для поэта так же важно, как поиски общего, объединяющего людей. Упорно преследуя ускользающие приметы бытия другого народа, после попыток проникнуть в самую суть, в душу этого бытия, поэт приходит к такому выводу:

Я понял: напрасно в открытую дверь  
ломлюсь, что едины на свете  
любовь и работа, надежда и смерть  
в Париже, в Твери и в Кахети.

Стихи Ст. Куняева о Грузии меньше всего похожи на впечатления туриста, пусть самые благожелательные, но почти всегда поверхностные. Поэт все время соотносит со своей родиной то, что видит в стране, «где птицы высоко парят и люди говорят высокопарно».

Может показаться, что это упрек. Но нет, высокопарность в данном случае — синоним поэтического, вдохновенного. В другом месте поэт мечтает «зайти к друзьям и освежить язык высокими словами».

В облике сегодняшней Грузии Ст. Куняев видит черты прошлого, он ценит в народе способность помнить и любить свою историю, он видит в этом залог могущества и бессмертия.

Как могли вы, друзья, уберечь  
за полсотарысячелетье  
эту древнегрузинскую речь, —  
что ни время, ни пламя, ни меч  
не сумели развейть наследье?

Очень часто картины природы и быта Грузии, эпизоды ее истории для Ст. Куняева — повод для раздумий о судьбах России (см. к примеру стихо-

творение «Южный берег»). Гражданственность в сочетании с пронзительной, почти исповедальной искренностью — характерная черта лирики Ст. Куняева. Судьба отчизны — одна из основных тем в его творчестве, решенная не плакатно-риторически, а написанная кровью сердца.

Что это значит — родину любить?  
Хранить напев. Возделывать

виноградник.

Быть рядом с нею в будни или  
в праздники

Невольные обиды позабыть...

Поэт смотрит на мир как бы в увеличительное стекло. Такое впечатление создается от яростной страстности, от языческой любви к жизни. Юношеский максимализм, горячность и порой излишняя категоричность, по-видимому, и обеспечивают стихам Ст. Куняева вечную молодость, взволнованность и неуспокоенность.

Сквозь слезы на глазах и сквозь  
туман души  
весь мир совсем не тот, каков он  
есть на деле...

Или еще:

Но все почему-то хотелось,  
чтоб ветер домился в окно...

Отчаянье? Молодость? Смелость?

Не знаю! Не все ли равно.

Нежелание, неумение раскладывать мир «по полочкам», готовность отозваться на каждый призыв, в надежде, что:

А все же кто-нибудь поймет,  
где грохот времени, где проза,  
где боль, где страсть, где просто поэза,  
а где свобода и полет.

Грузию поэт увидел тоже «сквозь слезы на глазах», слезы любви и нежности. Эта страна все время заставляет его прибегать к таким понятиям, как «чудо», «надежда», «любовь и привет». Возможно, кое-что в его восприятии преувеличено, но он сам признается:

Была одна мечта — подробно  
рассказать

о том, что на земле и на душе  
творится,  
но слишком полюбил смеяться  
и страдать,  
а значит, из меня не вышло очевидца.

И в другом стихотворении («Снова в Грузию хочется мне...») — о том же: «Что же делать, коль я человек, понимающий боль человечью».

Итак, мы имеем дело не со свидетельством очевидца, но с исповедью человека, «понимающего боль человечью». Мало это или много?

Поиски «души» в узких улочках Тбилиси завершаются патетическими строками удивления и благоговения:

С высоты благородной горы  
я увидел немало диковин —  
россыпь кровель и отблеск Куры,  
и подумал: о как ты духовен!  
Полыхала реклама кино,  
радиола истошно визжала,  
но духовность твоя, как клеймо,  
на груди у Кавказа лежала.

Отметим здесь излюбленное Ст. Куняевым противопоставление («духовности» признакам цивилизации (кино, радиола, телеантенна, афиша с модными артистами и т. д.). Обороняясь от стандартизации, поэт обвиняет цивилизацию в том, в чем она не повинна. Крайности, в которые впадает порой Ст. Куняев, защищая национальную и духовную самобытность народа, дают основание упрекать его в некоей консервативности, в идеализации патриархального быта, ушедшего в прошлое. Думается, что названные особенности — издержки творчества, те самые недостатки, которые суть продолжение достоинств.

Строки о Тбилиси достойно продолжают «антологию» стихотворений, посвященных этому городу. Для Ст. Куняева Тбилиси — «вечный» город, «древний» город, место, где он особенно остро ощущает «дыхание огня и хлеба», где «упрямо и неисцелимо надежда на чудо живет», где он слышит призыв: «Живи! Дыши! Немедленно вставай и снова удивляйся и страдай». Именно сюда стремится душа поэта, истосковавшись «по ласке и привету». Здесь он постигает «азбуку поэтов» — грузинское застолье, столько раз воспетое в русской поэзии. Ст. Куняев знает обо всем этом. Он сам говорит о традиции братского взаимопонимания — «традиции российских муз, от Пушкина до Пастернака».

Вторая часть сборника «Золотые холмы»<sup>1</sup> — убедительное доказательство

<sup>1</sup> «Золотые холмы». Стихи о Грузии. Избранная лирика. Избранные переводы с грузинского. Издательство «Мерани», Тбилиси, 1971.

приобщения Ст. Куняева к этой славной традиции.

Десять грузинских поэтов представлено в этой небольшой книжке достаточно выразительно, чтобы можно было говорить об их собственных достоинствах, а также о достоинствах переводчика, одного на всех, и тем не менее сумевшего перевоплотиться в каждом отдельном случае. Приходилось ли при этом Ст. Куняеву забывать о себе? «Становиться на горло собственной песне», собственной манере, стилю? **Наверное, нет.** Потому что он выбирает для перевода тех поэтов и те стихотворения, которые созвучны его умонастроению, душевному состоянию, его творчеству. Ему по душе пылкость и неумоемое жизнелюбие Георгия Леонидзе. С интересом прочли мы «Ниниоцинду» в новой интерпретации (прежде мы знали это прекрасное стихотворение Г. Леонидзе в переводе В. Державина). Свежо и ярко прозвучал перевод раннего стихотворения Г. Леонидзе «Солнце кровоточащее». И далее — зрелый Леонидзе, стихи последних лет, где буйство красок сменяется прозрачной акварельностью. Переводчик и здесь остается верен образу оригинала.

А как удивительно меняется его пафоса, когда он берется за поэзию Симона Чиковани, блестящего изысканностью мысли и четкостью формы, одушевленной подлинным чувством.

Смотри же, не споткнись, не упади,  
когда потянешься к цветам и звездам.  
... Все невпопад стучит в моей груди  
моя любовь к тебе, к рассвету,  
к веснам...  
(«Два крыла»).

Или другое стихотворение С. Чиковани, посвященное Тбилиси:

Вон там полыхает твоя новизна.  
Вот здесь старина не спеша догарает.  
Куда бы ни шел я, повсюду меня  
Твои переулки в пути догоняют.

Удалось Ст. Куняеву «перестроиться» и на повествовательный, эпический лад, свойственный поэзии Карло Каладзе.

Достоверно звучат в транспонировке Ст. Куняева стихотворения Реваса Маргиани. Мягкий лиризм Р. Маргиани, строгая простота его почерка и подкупающая искренность, доверительность интонации воссозданы в переводах с минимальными потерями.

Нет уж, лучше, страдая, смотреть  
в этот мир беспокойный, мятежный,  
побеждая внезапную смерть  
откровеньем,  
стихом и  
надеждой.

Заслуженным успехом пользуется у читателя творчество Шота Нишнанидзе. Поэт яркого национального своеобразия, черпающий свое вдохновение в грузинском фольклоре, кровью и плотью связанный с родной почвой, Ш. Нишнанидзе так же естественно и самобытно, как в оригинале, звучит в переводе Ст. Куняева.

Начинается сказка так мило,  
и в конце разливается грусть.  
По дорогам прекрасного мира  
Я, как буйвол Никора, плетусь.

Или известное стихотворение Ш. Нишнанидзе «Вол», очень характерное для творчества поэта в целом:

Пусть буду я вынослив в этой жизни  
и терпелив, как вол, душой и телом,  
чтобы добра для маленькой отчизны  
я столько ж, сколько он когда-то,  
сделал.

А вот совсем другой поэт, со своей темой, внутренне близкий и понятный Ст. Куняеву.

Я в лес иду,  
чтоб увидеть в лесу  
следы охоты,  
юности,  
удачи...

Такой перечень неоднородных, но по сути своей родственных понятий можно найти в стихах самого Ст. Куняева.

Я вновь подумал в тишине,  
о том, что захотелось мне  
шум дерева смешать со словом...  
О том, что заново люблю  
глядеть вдгонку сентябрю  
с его оранжевым покровом.

Как перекликаются эти строки Фридоны Халваши со следующим стихотворением Ст. Куняева:

И на этот разгул сентября  
Мы глядели с тобой чуть не плача,  
и за это тебя и меня  
бескорыстно любила удача...

В творчестве Резо Амашукели Куняев также отыскивает заманчивую любимую тему:

Я знаю — прогресс победит,  
здесь вырастут стройные зданья.  
Но этой окраины вид  
для сердца, как детская тайна.

Убежать от цивилизации, отдохнуть душой на лоне природы, насладиться общением с древностью (Киндвисский ангел у Амашукели) — все это настроения, хорошо знакомые Ст. Куняеву,

поэтому так легко и свободно летят стих переводов.

Как опыт перевода белого стиха (в последние годы завоевавшего себе право на жизнь в грузинской поэзии), интересны переводы из Мурмана Тесанидзе, поэта злободневного, отдающего щедрую дань публицистике.

Обращают на себя внимание своим изяществом и чистотой рисунка переводы стихотворений Тамаза Чиладзе.

Мы знаем поэзию Т. Чиладзе в переводах Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, Ю. Мориц, В. Лугового. Каждый из этих поэтов находил в грузинском подлиннике что-то особенно важное для себя и на этой основе возводил здание перевода. Нашел у Т. Чиладзе «свое» и Ст. Куняев. Если у Куняева «слезы смешались с травой, с листвою и с лепетом птичьим», то у Т. Чиладзе «Вода... а может быть, твоя улыбка, потерянная мною навсегда». Отсутствие границы между природой и чувствами характерно для обоих поэтов. Ст. Куняев уловил доброту, любовь ко всему живому, гуманность, присущие его грузинскому собрату. Верно схвачена и передана Ст. Куняевым легкая грустинка, свойственная лирике Т. Чиладзе.

Мы бродили без дома, без цели,  
тучи с неба срывались оравой,  
серебром и печалью звенели  
твои серьги над Черной Арагвой.

И, наконец, несомненная удача сборника — перевод «Итальянской тетради» Отара Чиладзе.

На первый взгляд, простой и доступный, Отар Чиладзе — поэт, невероятно трудный для перевода. Стих его, пронизанный внутренним драматизмом, построенный на неожиданных, но всегда точных ассоциациях, сочетает романтическую приподнятость с реалистической прямоотой. Отар Чиладзе по сей день остается поэтом непереверденным.

Среди немногочисленных опытов перевода поэзии О. Чиладзе на русский язык перевод Ст. Куняева выделяется своей завершенностью, цельностью. Ст. Куняев понимает, в чем «тайна» поэзии О. Чиладзе, и в большинстве случаев успешно разрешает задачу раскрытия перед читателем этой «тайны».

Но вдруг, как слово, что нельзя  
забыть,  
развалины на взгорье обнажатся,  
как будто для того, чтобы спросить,  
как долго это будет продолжаться.

В этой строфе мы слышим голос О. Чиладзе, не похожий ни на какой другой. К достоинствам перевода в данном случае следует отнести и непохожесть его на оригинальные стихи Ст. Куняева. Здесь, забыв о себе, переводчик моби-

лизует все возможности для того, чтобы воспроизвести парадоксальную метафоричность, торжественность, перемежающуюся будничной разговорной интонацией.

А у меня есть Гречи, мой оплот.  
Мне зной Гареджи обжигает кожу.  
Я каждый день штурмую их врасплох  
И каждый раз число побед итожу.

(Здесь не обошлось без потерь: в оригинале первая строка зримее и сочнее: «მე კი კბილებით მიჭირავს გრემი».)

Переводчик сумел передать философскую насыщенность каждой строфы поэмы:

Зоя ТУХАРЕЛИ

## ЕЩЕ РАЗ О СТИЛЕ

За последнее время проблемы стиля писателей, стиля художественной литературы снова находятся в центре внимания исследователей. В частности, в Грузии появился ряд интересных работ, Институт истории грузинской литературы имени Ш. Руставели провел дискуссию по проблемам стиля и так далее. Можно указать только одну область стилистики, которая удостоена меньшего внимания, — проблемы на стыке стиля художественной литературы и перевода. Речь идет о весьма многогранной области — сравнительной стилистике, сопоставительном анализе переводов, выяснении особенностей стиля определенного писателя и способов их передачи на другой язык. Между тем эти вопросы имеют существенное значение.

На грузинский язык переведены многие произведения писателей различных народов, среди них произведения высшей категории трудности. К таковым относятся и романы М. Шолохова. Перевод «Тихого Дона» получил в свое время положительную оценку в прессе. Рецензенты, прежде всего, отметили появление перевода эпопей как большое культурное событие. Однако проходит время, оформляются новые требования к художественному переводу, появляются новые работы по теории перевода, стилистике, стилю М. Шолохова. Эти работы заставляют по-новому взглянуть на перевод, выполненный свыше десяти лет назад, по-новому его оценить.

Своеобразие стиля М. Шолохова проявляется в многообразии черт (широком

Для нас для всех приходит время  
стать  
превыше бога, властвовать над небом,  
и, наслаждаясь, воздухом дышать  
и воду пить, и насыщаться хлебом.

Бывает, что самый квалифицированный перевод оставляет читателя равнодушным, не волнует его воображения. Этого нельзя сказать о переводах Ст. Куняева. В них он так же пристрастен, порывист, как и в своих собственных, «кровных» стихах. Он радуется и страдает в полную силу вместе с автором, почти всегда безошибочно угадывая, отличая главное от второстепенного, подтверждая на деле свои слова о том, что «музыке не надобен подстрочник».

использовании казачьего фольклора, налицо постоянных слов и словосочетаний и др.). Однако эти черты можно уловить и в творчестве других писателей. Своеобразие же стиля М. Шолохова надо искать в органическом сплаве указанных качеств, что приводит его к «своему» взгляду на мир и рождению «своего» творческого почерка. Разнородные языковые элементы «переплавляются», и стиль становится «проявлением органического единства при внешнем многообразии».

Говоря о качестве перевода произведений М. Шолохова, необходимо иметь в виду характерный для писателя стилиевой признак — «гармоничность и завершенность глав — образов каждой части, каждого тома. Это создается присутствием в каждой главе особого «стилевого центра», расположенного в разных местах главы. Какой бы ни была глава по художественной структуре (описание, диалог персонажей и др.), все смысловые нити стягиваются к особой форме внутреннего монолога и психологического анализа. Считается, что мы имеем дело со своеобразным проявлением — полудиалогическим, полумонологическим (всегда в виде несобственно-прямой речи), представляющим слияние монолога с диалогом, с авторским отношением и еще с чем-то, точнее — «монолог в форме диалога и «хора»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Л. Киселева. О стиле М. Шолохова. Сб. «Теория литературы», «Наука», М., 1965, стр. 176.

В «хоре» можно различить голоса героев, автора и др. Часто «хор» говорит от имени народа (особенно в кульминационных и трагических эпизодах). Получается, что голос героя может «продолжаться» или опровергаться другими голосами. Так, голоса персонажей наполняются большим объективным содержанием, иногда становятся «голосом самой жизни»<sup>2</sup>.

Качество перевода «Тихого Дона» во многом зависит от того, сохранилась ли на грузинском языке эта полифоничность, множественность звучания. Рассмотрим несколько разновидностей «хорового» звучания оригинала и перевода. Самый простой случай — в авторское повествование один за другим вторгаются посторонние голоса. Вторая часть эпопеи начинается с рассказа о С. Мохове. Родословную кушда повествует «автор всезнающий», однако в рассказ постоянно «встречают» чужие голоса.

«Включение» различных голосов сохранилось и в переводе. Можно указать на неточности в трактовке отдельных мест («неторопливые» передано как «неповторимые годы», «новое росло зелеными» — как «новое росло и расцвело» и др.). Однако неточности не нарушили шолоховского многоголосья. В таких несложных по звучанию эпизодах (например, рассказ о карьере Митьки Коршунова в карательном отряде — 5, 105; 4, 115 в груз. тексте) переводчик уловил и передал все голоса, кроме авторского<sup>3</sup>.

Более сложным является совместное звучание различных голосов. Большинство эпизодов эпопеи основывается на подобном принципе изложения. В переводе же наблюдаются два типа нарушений. Во-первых, часто нарушается доля авторского голоса. Так, продолжение мысленного спора Григория с Копыловым и первое самоотстранение Григория от боя в переводе содержат отдельные отклонения от оригинала.

«Хоровое» начало проявилось в присоединении к голосу Григория голоса автора, хотя Григорий и слышен более отчетливо. В ряде случаев несобственно-прямая речь сглаживается, превращаясь почти в прямую. В дальнейшем же вводится слово «მეცემ» («я говорю»), то есть в «хоре» доля авторского голоса уменьшается за счет подчеркивания мыслей героя.

Однако более типичной для данного перевода является другая категория смещений. В удивительной по переме-

жению комических и трагических сцен главе VIII (том 4, часть 7), переведенной вполне художественно, останавливают внимание частности, которые имеют большое значение в общей системе перевода. Так, фразы «Как пахнут волосы у этих детишек!..», «Нет, нет, Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно чувствителен и редко плакал даже в детстве» (5, 67) в переводе кое-что теряют, звучат не совсем по-шолоховски. В оригинале было слитное звучание голосов автора и героя, в переводе же «ბოლოვ» авторизует данное место, доля авторского голоса увеличивается.

Несобственно-прямая речь, в которой наиболее ясно выражается особая форма психологического анализа, требует особого внимания при переводе. Грузинский и русский тексты отличаются, казалось бы, всего несколькими деталями (например, «умылась мылом», замена личных местоимений именами Натальи, Григорий — в оригинале имена появляются всего два раза, в переводе 11 раз!). Между тем происходит серьезное нарушение смыслового звучания.

Многоголосье является одной из форм психологического анализа М. Шолохова. Речь идет о слиянии монолога с диалогом, с авторским отношением (и повествованием) и другими голосами, всегда в виде несобственно-прямой речи. В переводе же собственные имена превращают несобственно-прямую речь почти в прямую. Имена переадресуют текст. В оригинале львиная доля в звучании принадлежала Григорию, хотя без труда различались голоса автора и Натальи. Замены «переоркеструют» «хор», преимущество отдается авторскому началу. Вместо полифонического звучания — приближение к монологическому, авторскому. Так наносится ущерб смысловой насыщенности отдельных мест.

«Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно являются основным особенностью романов Достоевского», — считает ученый<sup>4</sup>. О множественности самостоятельных голосов, о «хоре», среди которого различается и голос автора, можно говорить и в связи с «Тихим Доном».

Анализируя авторское отношение к событиям и героям, необходимо помнить о самостоятельности множества голосов в эпопее. Автор высказывает свое мнение по-разному. Его оценки лишены упрощенности и примитивной категоричности, он вплетает свой голос в многоголосье «хора». Но среди этих многих, иногда противоположно звуча-

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> М. Шолохов. «Тихий Дон». Изво «Сабчота Сакартвело», Тбилиси. Переводчик Т. Джавахишвили. На груз. яз., 1955 — 1960 гг.

<sup>4</sup> М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, СП, М., 1963.



щих голосов, голос автора может не присоединиться даже к «хору», приговору истории. Его всегда следует «вылущить» из хорового обрамления или сплава.

С другой стороны, все, кто видит в «Тихом Доне» только «объект» авторского слова», могут не до конца понять специфику художественного мышления М. Шолохова. Вот самый простой пример — посещение английским полковником казачьей станицы:

«Полковник немного знал историю; рассматривая казаков, он думал о том, что не только этим варварам, но и внукам их не придется идти в Индию под командованием какого-либо нового Платова. После победы над большевиками обескровленная гражданской войной Россия надолго выйдет из строя великих держав, и в течение ближайших десятилетий восточным владениям Британии уже ничего не будет угрожать. А что большевиков победят — полковник был твердо убежден. Он был человеком трезвого ума, до войны долго жил в России и, разумеется, никак не мог верить, чтобы в полудикой стране восторжествовали утопические идеи коммунизма...» (5, 118).

Слова «автора всезнающего» ясно слышны, но чуткое ухо различит и голос полковника. Он и автор придерживаются противоположных взглядов на ход истории, на будущее России. Качество грузинского текста во многом зависит от того, сколько голосов услышал переводчик в оригинале. Между тем, нет полной уверенности в том, что кроме авторского рассказа он различил и мнение полковника о себе. Поэтому перевод фразы «полковник немного знал историю» — «*ბევნიც ცოტა იცოდა*» — может быть понят буквально, то есть плохо знал историю<sup>5</sup>. Между тем самому полковнику казалось, что он «немного знает историю». В этом убеждают мысли полковника с комментариями автора: «он был человеком трезвого ума» (почему-то — «он был человеком умным» — явный «перебор красок»), то есть полковник знает себе цену, считает себя человеком трезвого ума, который хоть немного знает историю, поэтому уверен в поражении большевиков. В переводе нарушается манера полковника мыслить, он вообще исчезает, все заполняет голос автора.

Конечно, подобные нарушения не вносят принципиальных отклонений в понимание важнейших эпизодов эпопеи, од-

нако несколько сужают смысловую емкость произведения. Если бы переводчик искал в «Тихом Доне» полифоничность, несомненно, старался бы выделить «хорового» звучания голосов, «привел бы» в чистоте голос автора. В переводе происходит «переоркестровка», доля авторского участия все увеличивается.

Обратимся к другому эпизоду:

«Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка заговаривал о войне: никак не мог ответить на простые и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе?» (5, 240). Гражданская война все запугала: Григорий Мелехов оказался борцом за старое, за казачьи привилегии и традиции. С другой стороны, он ненавидел помещиков и казачье офицерство, которое отвечало ему тем же. Мятущееся состояние, свойственное широким слоям казачества во время революции, выпукло проявилось в судьбе Григория. Он не хотел идти с белыми, не мог ни примирить казаков с большевиками, ни найти свой особый, казачий путь. Заблуждаясь вместе с массами, он заблуждался больше них. Но будучи человеком честным, незаурядным, он искал свою правду и свое место в событиях. Учитывая это, и следует перевести отрывок.

Самые значимые слова — «И кто знает — почему?» — сказаны Григорием. В переводе они «распаковываются» и авторизируются: «Что было тому причиной — никто не знал» (?), даже вопросительная интонация не сохранилась. И вторая фраза произносится Григорием, но в ней имеется оттенок сожаления и разъяснения, идущего от автора: «Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе?». В переводе более определено: «наверно, потому...». Опять потеря вопросительной интонации, звучание оригинала нарушается, мысли героя приписываются полностью автору.

Новаторство шолоховского «хорового» звучания в том и проявляется, что в многоголосье эпопеи можно различить и голос автора, но это не означает их обязательного совместного **слитного** звучания. Автор видит больше своих персонажей, иногда их осуждает, иногда сочувствует им, даже — несмотря на ошибки — оберегает. Нельзя ставить знака равенства между авторским мнением и сказанным его героями. Автор — фигура независимая. Поэтому всякое нарушение пропорций в «хоровом» звучании недопустимо. Увеличение доли авторского голоса (особенно при изображении запутанных и трагических ситуаций) ведет к переложению части «вины» персонажей на автора.

Наконец, концовка произведения: именно здесь сосредоточен смысловой

<sup>5</sup> В переводе «усиливается» мысль — «не только этим варварам, но и внукам их никогда не придется идти в Индию» — «... никогда не приснится поход в Индию». Неточность идет от буквального понимания мнения о полковнике, которое переводчик приписывает автору.

удар главы, части, тома и всего произведения.

«Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром» (5, 495). Как говорилось, в «хоре» слышится множество противоречивых голосов, одновременно осуждающих главного героя, сочувствующих ему и даже оберегающих его. В последних строках эпопеи «хор» явно встает на защиту Григория<sup>6</sup>. Главный недостаток перевода нам представляется в появлении «*ბაბ ობაბ*» («что ж поделать»). В восклицании «что ж» слышится мнение умудренных людей, много повидавших и повидавших, осуждающих героя и сочувствующих ему. А в переводе «*ბაბ ობაბ*» (почему не «*ბაბ ობაბ*»?) все это подменяется только осуждением героя и примирением с неизбежностью грозящей ему кары. Оберегающий героя голос в «хоре» пропадает. Для полифонического типа художественного творчества М. Шолохова такой перевод является обеднением.

Нас интересовали только некоторые особенности стиля М. Шолохова, а именно многоголосье, наличие «хора». В «Поднятой целине» происходит распадение «хорового» начала, из него выделяются отдельные голоса. Своеобразная форма психологического анализа, знакомая нам по эпопее, приобретает естественный вид диалога и монолога без добавлений. Функции автора значительно расширяются, он по- существу заме-

няет «хор». Подобное «дробление» «хора» ученые считают остановкой перед новым синтезом, проявившимся в «Судьбе человека»<sup>7</sup>. Герой рассказывает о своей жизни писателю, это повествование перемежается разговорами героя и автора и авторским комментарием, отчего получает более углубленное звучание. Так, история одного советского человека «дорастает» до истории русского народа в Отечественной войне и даже шире — до истории Человека, Судьбы человека<sup>8</sup>. Мы же говорили только о полифоничности эпопеи, о необходимости выделить из «хорового» звучания голос автора, о нахождении способов передачи их на грузинский язык. Речь идет о деле, имеющем большое практическое значение: в Грузии переведены все основные произведения М. А. Шолохова, настало время издать собрание его сочинений. Во всех союзных республиках, в том числе и среднеазиатских, уже изданы собрания сочинений писателя в 8 томах. При подготовке переводов к изданию следовало бы заново прочитать переводы под углом зрения особенностей стиля. Для этого надо знать своеобразие стиля М. Шолохова и способы передачи его на другой язык, о чем мы и попытались дать некоторое представление. В каждом переводе следует учитывать достижения теории и практики художественного перевода, новейшие исследования о переводимых книгах, которые углубляют наше представление об идейно-художественном богатстве произведений.

<sup>7</sup> Л. Киселева. О стиле Шолохова. Сб. «Теория литературы», «Наука», М., 1965, стр. 193.

<sup>8</sup> См. труды В. Цвиркунова, Ю. Лукина, Е. Пермитина, Л. Якименко и др.

<sup>6</sup> См. труды А. Бритикова, Л. Киселевой, Н. Драгомирецкой, А. Хватова и др.

Э. КАВКАСИДЗЕ

## ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Даже одно перечисление открытий, научных достижений, прочно вошедших в нашу жизнь в XX веке, заняло бы, по всей вероятности, не один объемистый том. Нововведения настолько вошли в нашу жизнь и продолжают в нее входить, что в настоящее время трудно представить мир, скажем, без радио, кино, телевидения.

В системе средств массовой информации телевидение является самым молодым, но тем не менее оно гораздо быстрее газет, журналов и радио завоевало признательность, популярность и приверженность десятков миллионов людей земли.

Телевидение оказывает в той или иной степени влияние на все стороны духовной жизни общества — оно помогает формированию мировоззрения личности, повышает ее образовательный уровень, расширяет эстетический кругозор и выполняет массу других функций. Стремительное развитие телевидения и его быстрое превращение в важный фактор общественной жизни стали возможны лишь благодаря многогранности телевидения, его особой специфики, важности роли общественного назначения.

В настоящее время в 82 зарубежных странах функционирует почти тысяча телевизионных центров. Телевидение стало символическим статутом государств, обретших независимость. Несомненно, что со временем все страны будут располагать собственными возможностями, которые обеспечат работу телецентров.

Телевидение в нашем обществе является активным помощником Коммунистической партии, носителем, выразителем и распространителем ее идей.

Коммунистическая партия, Советское правительство постоянно уделяли и уделяют внимание совершенствованию и дальнейшему развитию телевидения, обогащению его идейного содержания и повышению художественного уровня.

Это нашло отражение в ряде партийных документов, постановлений ЦК КПСС, в выступлениях руководителей партии и правительства<sup>1</sup>.

В силу специфики своего воздействия на объект пропаганды (сознание масс) телевидение в значительной степени отличается от других средств массовой информации. Именно потому что телевидение воздействует в первую очередь на человеческие эмоции, позволяет зрителю чувствовать себя не только непосредственным наблюдателем событий, но и быть их активным участником (конкурсы, слушание лекций и т. д.), оно по праву может быть отнесено к наиболее эффективному из всех средств массовой информации.

Для советских средств массовой информации основополагающими являются принципы партийной пропаганды, сформулированные В. И. Лениным.

### Основной принцип нашей пропаганды — принцип партийности.

Партийность нашей пропаганды, ее политическая целеустремленность всегда отражали и отражают ее классовую принадлежность, ее революционный характер и пролетарскую направленность. Пролетариат не скрывает своих конечных намерений. Он четко и ясно определяет цели своей борьбы.

Принцип партийности — объективная закономерность, диктуемая потребностями идеологической борьбы. Он присущ всей деятельности Коммунистической партии, является ее неотъемлемым качеством.

Вопросам партийности уделено большое внимание в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Так, Ф. Энгельс писал, что задача партийной прессы состоит прежде всего в том, чтобы обосновывать, развивать и защищать требования своей

<sup>1</sup> См. «О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении». Сборник документов и материалов. Изд-во «Мысль», М., 1972.

партии, отвергать и опровергать претензии и утверждения враждебной партии<sup>2</sup>. Маркс и Энгельс считали, что пролетарская печать не может скрывать от заданных масс свои политические цели, свою партийную принадлежность. Одно из главных достоинств коммунистической печати они видели в открытом провозглашении ею своих воззрений.

Вся пропагандистская работа должна вестись с партийных позиций, на основе мировоззрения партии, ее политики и решений, выражающих коренные интересы рабочего класса и всех трудящихся. В. И. Ленин считал одной из важнейших задач партии непримиримую, бескомпромиссную и принципиальную борьбу против любых оппортунистических и догматических извращений марксизма

Проблема партийности идеологии, непримиримости буржуазной и пролетарской идеологии нашла глубокое отражение во многих трудах В. И. Ленина<sup>3</sup>. О коренной противоположности пролетарской и буржуазной идеологии неоднократно писали в своих трудах К. Маркс и Ф. Энгельс<sup>4</sup>, развернутая критика буржуазной идеологии дана в «Манифесте Коммунистической партии».

**Непримиримость к буржуазной идеологии** — один из основных принципов нашей пропаганды, вытекающих из ее классового характера, ее партийности.

В настоящее время правящие империалистические круги делают ставку на войну идей. Путем внедрения в социалистическое общество буржуазных идеолов, идей они надеются на перерождение социалистического общества в буржуазном духе. В этих условиях необходимо настойчиво, убедительно и смело отстаивать чистоту марксистско-ленинского учения. В этой связи В. И. Ленин писал, что партия «должна ни на минуту не упускать из виду нашей конечной цели, всегда пропагандировать, охранять от искажений и развивать дальше пролетарскую идеологию — учение научного социализма, т. е. марксизм»<sup>5</sup>.

Обострение идеологической борьбы требует дальнейшего вооружения трудящихся масс марксистско-ленинской теорией, предвывает особенно большие требования ко всем пропагандистам партийной политики и идеологии.

Неотъемлемой чертой партийной пропаганды является ее правдивость. В. И. Ленин считал ее залогом привлекательности, успеха. В докладе Центрального Комитета IX съезду партии в 1920 году он отмечал: «Ясность пропаганды и агитации есть основное условие. Если наши противники и признавали, что мы сделали чудеса в развитии агитации и пропаганды, то это надо понимать не внешним образом, что у нас было много агитаторов и было истрачено много бумаги, а это надо понимать внутренним образом, что та правда, которая была в этой агитации, пробивалась в головы всех. И от этой правды отклониться нельзя»<sup>6</sup>.

«Правда — это объективные закономерности, познанные научно на основе диалектико-материалистической методологии. Марксизм, — отмечал В. И. Ленин, — стоит на почве фактов, а не возможностей. Марксист должен в послышки своей политики ставить только точно и бесспорно доказанные факты»<sup>7</sup>.

История развития Советского государства убедительно показала, что правда в политике — это самый лучший, единственно правильный метод, с помощью которого партия завоевывает симпатии и доверие масс. Убедительное и объективное объяснение состояния дел, правдивая и честная пропаганда способствуют формированию умения правильно анализировать обстановку у объекта пропаганды, помогают преодолению различного рода трудностей.

В. И. Ленин считал пропаганду могучим средством, с помощью которого Коммунистическая партия оказывает повседневное влияние на массы, активно воздействует на революционную практику, на весь ход общественного развития. Именно поэтому одним из важнейших принципов партийной пропаганды является ее связь с жизнью, с практикой. Ленин подчеркивал важность подчинения партийной пропаганды тем задачам, которые партия решает в данный исторический момент, разумеется, не упуская при этом из виду конечных целей движения.

<sup>2</sup> См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 271.

<sup>3</sup> См. В. И. Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм», ПСС, т. 18; «Партийная организация и партийная литература», т. 12; «О печати», Сборник, М., 1959; «Об идеологической работе», М., 1969 и др.

<sup>4</sup> См. К. Маркс и Ф. Энгельс. «Святое семейство или критика критической критики», Собр. соч. (изд. 2-е), т. 2; «Немецкая идеология», т. 3; «Манифест Коммунистической партии», т. 4; «Нищета философии», т. 8; «О печати», Сборник, М., 1963.

<sup>5</sup> В. И. Ленин, ПСС, т. 6, стр. 269.

<sup>6</sup> Там же, стр. 319.

<sup>7</sup> Там же.

В современных условиях это означает, что в то время как основная роль пропаганды (стратегическая) — повышать сознание трудящихся, развивать их творческую инициативу и активность, тактическая цель пропаганды — оказание помощи партии в решении задач, поставленных ею на данном этапе исторического развития.

Возросший уровень теоретической подготовки, теоретического сознания аудитории обнаруживает потребность в обновлении старых, возникновении новых форм и методов пропагандистской работы, выработке новых средств идеологического воздействия и влияния. В сфере современной политики, а тем самым и в область, требующую повседневного оперативного теоретического осознания, включилось и постоянно включается все большее число социальных процессов. Наиболее выразительный тому пример — воздействие научно-технической революции на идеологию, необходимость учитывать эти факторы в организации пропагандистской работы.

От задач, поставленных дореволюционной ленинской пропагандой, — формировать теоретически, марксистски осознанные классовые взгляды преимущественно по вопросам политики в первые послереволюционные годы — преимущественно по вопросам экономики мы перешли сейчас к формированию пролетарски гуманистического мировоззрения всесторонне развитой личности коммунистического общества.

Характерным для современной пропаганды является приобщение к знанию, убеждение людей, недостаточно сведущих в научной теории, не искусственных в освоении логических выводов и абстракций. Как здесь достигнуть эмоциональности предмета теоретической пропаганды? Ленинское научное и публицистическое наследие дает ответ на это: сопряжением теории с практикой. Ленин писал: «Надо воспитывать весь класс наемных рабочих к роли борцов за освобождение всего человечества от всякого угнетения, надо постоянно обучать новые и новые слои этого класса, надо уметь подойти к самым серым, неразвитым, наименее затронутым и нашей наукой, и наукой жизни представителям этого класса, чтобы суметь заговорить с ними, суметь сблизиться с ними, суметь выдержанно, терпеливо поднять их до социал-демократического сознания, не превращая наше учение в сухую догму, уча его не одной книжкой, а и участием в повседневной жизненной борьбе этих самых серых и самых неразвитых слоев пролетариата»<sup>8</sup>.

Насыщать пропагандистские выступления событиями, примерами, проблемами актуальной общественной практики — этого не переставал требовать Владимир Ильич от своих соратников. Об этом напоминают партийные документы. Постановление ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» от 9 января 1960 года подчеркивало: «Главным недостатком партийной пропаганды остается все еще не преодоленный до конца отрыв от жизни, от практики социалистического строительства»<sup>9</sup>. Партия специально обращала внимание пропагандистов на необходимость «раскрывать теоретические положения марксизма-ленинизма в неразрывной связи с историческим творчеством народных масс. В пропагандистских выступлениях печати надо избегать общих рассуждений и повторений, приводить больше точных ярких данных и аргументированных, мобилизующих выводов, разнообразить формы подачи материала (специальные полосы, рецензии, творческие обсуждения и т. д.)»<sup>10</sup>. Это — рекомендации, вытекающие из ленинского учения о пропагандистской функции печати, конкретизирующие его применительно к современным условиям.

Партийность в подлинном смысле требует выработки критериев оценки интересов с точки зрения действительных потребностей класса. Эти критерии разрабатывает марксистская теория функционирования и развития общества: «Дело не в том, в чем в данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что такое пролетариат на самом деле и что он, согласно этому бытию, исторически вынужден будет делать»<sup>11</sup>. Следовательно, характеристика партийности непременно должна включать в себя указание на то, что теоретико-методологической базой партийной журналистики является марксистско-ленинское учение.

Коммунистическая партийность — именно потому, что в теоретическом своем аспекте она проявляется как подход к каждому общественному явлению с марксистских методологических позиций — неразрывно связана с объективностью познания действительности, прямо требует создания объективно-истинной «истории современности». И наоборот, объективная точка зрения на обще-

<sup>8</sup> В. И. Ленин, ПСС, т. 10, стр. 357.

<sup>9</sup> Сб. «Советская печать в документах», М., Госполитиздат, 1961, стр. 484.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 40.

ство достижима лишь тогда, когда внутренней основой ее становится марксистская социальная теория. Объективно истинный, материалистический подход к действительности, к различным ситуациям и процессам социальной истории включает, так сказать, в себя партийность, писал В. И. Ленин, «обязывая всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы»<sup>12</sup>.

Беспартийность буржуазной идеологии, о которой так любят говорить западные теоретики, в действительности является оборотной стороной ее партийности. Стремясь достигнуть своей цели, буржуазные идеологи выдвигают и широко пропагандируют различные теории и концепции, которые якобы являются общими для развития и социалистического и капиталистического обществ, усиленно подчеркивают их аполитичность. Суть же этих «теорий» состоит в том, чтобы научно доказать «неизбежность» развития человеческого общества по капиталистическому пути, опровергнуть «коммунистическое учение».

В теориях дендеологизации, стадий экономического роста, единого индустриального общества, конвергенции, постиндустриального или техпатронного общества обосновывается переход социалистического общества на капиталистический путь развития, сглаживаются классовые антагонизмы современного капитализма.

В советской литературе эти теории подвергнуты всестороннему критическому анализу, разоблачена их суть, указано, какую роль они играют в планах Запада, нацеленных на развитие в социалистических странах буржуазной идеологии.

Защищая свои классовые интересы, пытаясь удержать господствующее положение, буржуазия формирует армию «литературных представителей», которые в меру осознания своего положения также становятся партийными пропагандистами. Однако открыто признать связь с интересами своего класса, свою партийность они не могут и не хотят. «Беспартийность есть идея буржуазная... Это положение в общем и целом применимо ко всему буржуазному обществу. Конечно, надо уметь применять эту общую истину к отдельным частным вопросам и частным случаям»<sup>13</sup>.

Ленинский анализ конкретных ситуаций и частных обоснований «надклассовости» или «беспартийности» тех или иных групп, изданий, позиций и так далее показал, что наряду с откровенно демагогическим выдвиганием этой идеи для прикрытия действительной защиты интересов буржуазии нередко отрицание классовости и партийности есть демонстрация недомыслия или трусости «мысли тех, кто недорог до этих взглядов»<sup>14</sup>, неясности и неразвитости «политического сознания»<sup>15</sup>.

Марксистская журналистика всегда разоблачала идею «беспартийности» во всех вариантах ее проявления и обоснования, во всех ее формах.

Острейшее идейное оружие партии — журналистика — коллективный пропагандист, агитатор, организатор масс, фундаментальные принципы своей деятельности черпает в вечно живом учении Ленина.

На необходимость усиления эмоциональной стороны пропаганды указывает в своей работе «О ленинских принципах партийной пропаганды» советский исследователь А. Г. Соломоник. Каждый пропагандист, пишет он, должен стараться дать своим слушателям четыре радости: во-первых, это радость познания, во-вторых, радость самостоятельного творчества, затем радость общения с коллективом и, наконец, радость восприятия прекрасного через использование в пропаганде произведений искусства, художественной литературы<sup>16</sup>.

Весьма важным вопросом, по нашему мнению, является проблема координации пропагандистских акций. На основе ленинских теоретических положений Коммунистической партией разработан вопрос о централизации пропаганды. Б. Д. Чеснокова отмечает, что В. И. Ленин понимал централизацию пропаганды как программу координации всей агитационной работы, постоянного повышения ее уровня, подготовки и умелого использования опытных кадров<sup>17</sup>.

Р. Борецкий, автор многочисленных работ, посвященных исследованию различных проблем телевидения, отмечает, что телевидение — «дитя XX века органично вписалось в его парадоксальный облик, импонируя стремительности и

<sup>12</sup> В. И. Ленин, ПСС, т. I, стр. 419.

<sup>13</sup> Там же, т. II, стр. 138.

<sup>14</sup> Там же, стр. 99.

<sup>15</sup> Там же, т. I, стр. 109.

<sup>16</sup> А. Г. Соломоник. «О ленинских принципах партийной пропаганды», М., 1968.

<sup>17</sup> Б. Д. Чеснокова. «Влияние проблематики на жанровую определенность общественно-политических передач документального телевидения». В сб. «Вопросы теории и практики массовых средств пропаганды», вып. 4, М., 1971.

лености, насыщенности, подлинной глубине и пустоте, поверхностному дидактизму, пространственному и временному размаху и келейной индивидуалистической замкнутости... Но, пожалуй, прежде всего соответствуют духу именно его способности информатора, а среди них — возможность прямого включения человека в поток реальной жизни»<sup>18</sup>.

Р. Борецкий считает, что «все современное телевидение в известном смысле является средством информации, так как в большинстве программных компонентов не находит еще достаточно самостоятельных средств и форм собственно телевизионной выразительности. К тому же, сама природа телевидения, его технические возможности определяют необычайную широту «транспортных» его функций, что также расширяет понятие телеинформации. Ведь и трансляция спектакля, и передача кинофильма, и репортаж с выставки, и множество подобных форм, где телевидение не поднимается выше трансмиссии и дополнительного средства массового тиражирования, остаются фактом информации, не более. И основным с позиций политических, да и творческих здесь (как в печати, на радио, в кинохронике, фотографии) всегда остается отбор материала, а не его комментирование, трактовка»<sup>19</sup>.

Мы согласны с Р. Борецким и считаем правильным высказанное им положение относительно необходимости отбора материала при трансляции передач, в которых визуальная информация является доминирующей — репортажи, спектакли и так далее. Но вместе с тем нам хочется отметить, что в передачах на общественно-политические темы комментирование и трактовка являются определяющими и решающими факторами (естественно, что при этом мы несколько не умаляем значения визуальной информации).

В силу своей наглядности и массового распространения телевизионная информация является средством формирования общественного мнения. Она в большей степени, чем все другие виды информации, делает человека не созерцателем, а как бы участником событий.

На наш взгляд, характер телевизионной информации в последние годы проявляет тенденцию к изменениям. Наряду с констатацией фактов телевизионная информация все более активно вторгается в жизнь, обращается к публицистическому осмыслению новых явлений действительности.

Думается также, что для достижения большей эффективности телепропаганды необходимо учитывать поэтапное развитие информации о том или ином факте в соответствии с изменением уровня общественного мнения вокруг него: от событийной информации и от популярного объяснения факта к анализу причинной связи данного факта с другими, с его проблемной интерпретацией.

Телевидение обладает большей обличительной силой, чем газета или радио, потому что дает нам возможность своими глазами, непосредственно увидеть объект критики или разоблачения. Но в полной мере это сильнодействующее средство используется очень редко. Так, например, почти не ведется репортажей из зала суда, мало показывается, что делается, например, на предприятиях, где плохо организован рабочий процесс безответственными руководителями, и так далее.

По нашему мнению, следовало бы пойти по пути создания таких передач. Разумное использование критических материалов способствовало бы более активному ведению борьбы за укрепление общественного порядка, моральных пережитков прошлого.

Наша пропаганда сильна тем, что в ее основе лежит революционная теория. Опираясь на факты, достоверные материалы, не преувеличивая достижений и не избегая злободневных вопросов, можно добиться повышения эффективности пропаганды. В. И. Ленин подчеркивал, что нам нужно «побольше знания фактов, поменьше претендующих на коммунистическую принципиальность словобрешии»<sup>20</sup>.

Идейное превосходство марксистско-ленинской идеологии над теоретическими концепциями философии капиталистического мира признается многими видными буржуазными идеологами. Будучи не в состоянии противопоставить какие-либо убедительные аргументы против теории и практики социалистического развития, выдвинуть идеи, которые бы отвечали чаяниям народных масс своих стран, они ставят перед своей пропагандой задачи максимального искажения правды о странах социализма. Под видом достоверной информации печать, радио и телевидение капиталистических стран клеветают на социалистическую действительность, широко прибегают к использованию дезинформации.

<sup>18</sup> Р. Борецкий. «Телевизионная программа», М., 1967, стр. 30.

<sup>19</sup> Там же, стр. 21.

<sup>20</sup> В. И. Ленин, ПСС, т. 42, стр. 347.

Обострение идеологической борьбы между двумя социально-политическими и экономическими системами — социализмом и капитализмом — является характерной чертой нашего времени. Эта борьба развертывается в условиях неуклонного роста международного влияния Советского Союза и всей мировой системы социализма; новых успехов народов, выступающих против колониального ига, за свою независимость и социальный прогресс; в условиях активизации рабочего движения в странах капитала; дальнейшего развития и укрепления единства международного коммунистического движения на принципах марксизма-ленинизма; в условиях «продолжения углубления общего кризиса капитализма»<sup>21</sup>. «Ареной этого противоборства является весь мир, все основные области общественной жизни — экономика, политика, идеология и культура». — подчеркивается в основном документе международного Совещания коммунистических и рабочих партий, состоявшегося в Москве в 1969 году<sup>22</sup>.

Сделав ставку на идеологическую борьбу, империалистические круги Запада поставили на службу своих интересов все средства массовой информации. Важное место при этом было отведено телевидению.

В буржуазном мире телевидение, как и остальные средства массовой информации, преследует в первую очередь цели и задачи буржуазной пропаганды. Телевизионные программы в странах капитала направлены не на воспитание аудитории, а на приспособление к ней.

Ведущие западные идеологи и теоретики в области пропаганды вкладывают в это понятие свое специфическое содержание — они расценивают его как определенную акцию, направленную на достижение определенных результатов, целей.

Основное назначение пропаганды, взятой на вооружение правящими империалистическими кругами, — всеми способами показывать несостоятельность коммунистической идеологии, не допускать, чтобы народы освободившихся стран вставали на путь развития социалистического общества, вызвать неуверенность и замешательство среди противников империализма.

Советский ученый Арбатов отмечает, что задача западного пропагандиста состоит в том, чтобы воздействовать не столько на разум, сколько на эмоции человека. При таком подходе идейное воздействие на людей, по сути дела, все больше подменяется психологическим<sup>23</sup>.

Буржуазные идеологи и политики хорошо сознают силу пропагандистских возможностей, скрытых в телевидении. Изучение телевизионной аудитории, различные социологические исследования занимают на Западе важное место. Тратятся огромные деньги на подготовку кадров, работающих в области телевидения и его социологии.

На основе вышеизложенного можно сделать некоторые выводы. Повышение эффективности телевизионных передач на общественно-политические темы кроется, как мы уже подчеркивали, в более четком применении принципов партийной пропаганды, сформулированных В. И. Лениным. Умелое применение их будет больше и эффективнее способствовать формированию личности нового, советского человека — строителя коммунизма. На основе обобщения богатого опыта пропагандистской работы, накопленного Коммунистической партией, телевидение может и должно вскрыть главные закономерности пропаганды в применении к своей специфике, определить ее научные основы, обогатить содержание и поднять действенность.

<sup>21</sup> Л. И. Брежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза, М., 1971, стр. 17.

<sup>22</sup> «Международное Совещание коммунистических и рабочих партий, Москва, 1969 г.», Прага, 1969, стр. 9.

<sup>23</sup> Г. А. Арбатов. «Идеологическая борьба в современных международных отношениях», М., 1970, стр. 177.



Бесо ЖГЕНТИ

## ВЫДАЮЩИЙСЯ ПИСАТЕЛЬ-ГУМАНИСТ

Нико Лордкипанидзе сыграл выдающуюся роль в развитии новейшей грузинской литературы. Первоклассный мастер художественной прозы, он обладал исключительно острым, образным видением, утонченным вкусом, владел в совершенстве мастерством живописания словом, которое М. Горький рассматривал как характерную особенность художественной литературы. Произведениям Н. Лордкипанидзе была присуща взволнованная страстность, глубина и отточенность мысли.

Деятельность писателя хронологически охватывает большой отрезок времени. Юность его протекала на стыке веков, когда под влиянием революционной борьбы русского пролетариата трудовой народ Грузии выходил на путь великого освободительного движения. Глубокие социальные сдвиги, происходившие в общественной жизни, находили отражение в художественной литературе, оказывали влияние на передовую интеллигенцию и прогрессивно настроенную молодежь. К числу этой молодежи принадлежал и Нико Лордкипанидзе. Еще в ученические годы у него возникают настроения неудовлетворенности существующей действительностью, он полон непримиримости к самодержавию, к его дикой колониаторской политике.

Для получения высшего образования будущий писатель поступает на юридический факультет Харьковского университета, где сближается с революционно настроенными русскими и украинскими студентами, принимает участие в студенческих революционных выступлениях. За это его исключают из университета. Он возвращается на родину. Но здесь его арестовывают за активное участие в демонстрациях, которыми передовая грузинская интеллигенция отвечала на реакционную, антинародную политику царских властей.

Выйдя из заключения, Нико Лордкипанидзе едет за границу, в Австрию, и поступает в Лесбонскую горную академию. По окончании академии, в 1907 году, он возвращается в Грузию, и с этого времени до конца своих дней не прерывает широкой литературно-общественной и педагогической деятельности.

Лордкипанидзе вступил в литературу в трудные для нее годы. Максим Горький, говоря о русской литературе, назвал эту пору самым позорным десятилетием во всей ее истории. Это относилось и к грузинской литературе. Разочарование и безнадежность, охватившие определенные слои населения после поражения революции 1905—1907 годов, подготовили почву для возникновения в ней антиреалистических, буржуазно-декадентских течений. Эстетизм и крайний индивидуализм, мистицизм, упадочнические мотивы, отчаяние и безнадежность — все это было характерно в ту пору для грузинской литературы.

Однако и тогда не угасли и не исчезли великие реалистические и демократические традиции передовой грузинской классической литературы. В эпоху реакции в Грузии создавались произведения, которые противостояли натиску декаденса и утверждали позиции реалистического искусства. К их числу и относятся лучшие ранние рассказы Нико Лордкипанидзе, сразу обратившие на себя внимание и также сразу заявившие о себе как значительные события в литературной жизни того времени.

Нико Лордкипанидзе, как и многие грузинские писатели предоктябрьских лет, не стоял в стороне от событий. Веяния эпохи коснулись и его. Он отдал дань модным увлечениям, написав несколько типично модернистских произведений. Но отнюдь не эти произведения определяют идейно-эстетические принципы художественной индивидуальности писателя и место его в литературно-общественных процессах того времени.

Всей своей жизнью Н. Лордкипанидзе был связан с событиями революционного движения начала нашего века, и именно эти события определяли его миро-

воззрение и общественные идеалы. Писатель упорно продолжал и развивал реалистические, демократические традиции передовой грузинской классической литературы.

Нико Лордкипанидзе не был тогда непосредственно связан с политическим авангардом революционной борьбы рабочего класса. В его творчестве того времени классовая идеология пролетариата не нашла своего яркого и четкого отражения. Но совершенно очевидно и бесспорно то, что творчество писателя развивалось в основном под воздействием революционных событий и великих освободительных идей эпохи. Отсюда и чувство протеста и негодования, которыми проникнуты лучшие его произведения дореволюционного периода. В них писатель с огромной обличительной силой живописал пороки общественной жизни, глубоко драматические картины угнетения человека, попрания его достоинства. Даже в произведениях, созданных на материале далекого прошлого, писатель с гневом и отвращением порицал всякую тиранию, любое проявление ущемления прав человеческой личности, обличал эгоизм, бездушный карьеризм, измену интересам родины и народа во имя собственного возвеличивания. Почти все его исторические произведения вдохновлены высокими гуманистическими и патристическими идеалами. В этом и состоит их актуальность и идейное значение для своего времени. Этим же ценны они и сегодня.

После победы в Грузии социалистической революции Нико Лордкипанидзе оказался в числе тех, кто искренне и без колебаний встал на путь активного творческого сотрудничества с Советским государством, нацелив все свои способности и силы на служение великому делу построения нового мира.

В советскую эпоху Нико Лордкипанидзе создал целый ряд произведений, среди которых особое внимания заслуживает историко-революционная повесть «С тропинок на рельсы». Это было одно из первых в грузинской художественной прозе произведений, отчетливо отразившее руководящую роль коммунистов в борьбе, которую вел грузинский народ на баррикадах первой русской революции и в тяжелые годы царской реакции.

...Нико Лордкипанидзе скончался в 1944 году, когда советский народ добивал злейшего врага всего прогрессивного человечества — немецкий фашизм. Прикованный неизлечимым недугом к постели, писатель-патриот всем сердцем откликается на героическую борьбу советского народа за спасение жизни и свободы Родины, всей мировой цивилизации от фашистского варварства и мракобесия. Чувством высокого патриотизма проникнуты его «Непокоренные», «Возвращение пленного» и неоконченный роман «Давид Строитель».

\* \* \*

В грузинской критике Нико Лордкипанидзе называли художником «разрушенных гнезд» и «минувших времен». Действительно, величественное и в то же время суровое прошлое родной страны являлось одним из основных источников вдохновения писателя. Однако круг тем и идей Нико Лордкипанидзе далеко не исчерпывается образами и красками старого мира. Верный наследник лучших традиций родной литературы, он, как и всякий большой художник, первым делом был сыном своей эпохи.

Уже в годы реакции, т. е. в самом начале своей творческой деятельности, Лордкипанидзе не мирился с окружающей действительностью. Перефразируя знаменитые слова Микеланджело, он писал: «Сладок сон. Еще слаще окаменение в пору позора и осквернения человеческой личности. Ничего не видеть, ничего не чувствовать — вот мое наслаждение. Так не будите меня, разговаривайте тихо — мне стыдно».

В этих словах, в этой исповеди, пронизанной желанием бегства от жизни и отвращением к ее порокам, явно ощущается боль сердца художника, возмущенное поработанным состоянием своей родины.

В ту пору, когда временно восторжествовавшие силы реакции расправляются с народом пытками, виселицами и ссылками и превращают жизнь в беспросветную темницу, в прозе Нико Лордкипанидзе отражается эта удушающая атмосфера жизни, превращенной в тюрьму, «где и петь запрещено, где надо страдать безмолвствуя...»

В цикле «Рождественских миниатюр», датированных 1910 годом, мы находим образец художественной публицистики — «Продается Грузия». В этой миниатюре глубоко отображается судьба нашей родины в условиях дикой колонизаторской политики царского самодержавия: «Продается Грузия, с ее полями и долинами, горами и холмами, лесами и виноградниками, прошлой историей и грядущими судьбами, прекрасным ее языком, мужественным характером, гостеприимством, величественной природой, чистым воздухом, трудом приобретенным жильем, причудливыми орнаментами монастырей и церквей, бурными ручьями, си-

ним морем... Продается Грузия с матерями и отцами, детьми и внуками, родными и ближними. Продаются все: князья и священники, купцы и разбойники, большие и малые, умные и глупые, пьяные и трезвые... Продаются везде: на улице и дома, в театре и на суде, в училище и в тюрьме, в фаэтоне и поезде, утром и ночью, в жаре и в холоде, в солнечную погоду и в ненастье...». Этот потрясающий монолог завершается криком отчаяния писателя: «...Купите же, наконец, полностью, растерзайте и распотрошите то, что называлось Грузией. И сейчас бесхозное кормит воронов и ранит сердце беспомощных страдальцев...».

Публицистический пафос этого обличительного монолога удачно переключается с мотивами призывного, обнадеживающего голоса писателя, который одержим любовью к родине и страстно желает ее спасения от бед. «Из окна моей комнаты, — пишет он, — виден покрытый белым снегом и окрашенный солнечными лучами Казбек. Голос его, как голос нежной девушки, слышится издалека: «Берегите Грузию!».

В лунную ночь развалины храма Баграта, которые сверху глядят на Кутаиси, как одетая в траур плакальщица, безгласно молвят: «Берегите Грузию!».

И этот призыв слышится и в песнях, и в журчании родных рек, и в появлении призрака Руставели, и в бесконечном монотонном звучании капель проливного дождя. Все вокруг пронизано этими призывными интонациями.

Нико Лордкипанидзе неограничен в своих обличительных тенденциях. Его протест выливается отнюдь не в одну публицистическую форму, не всегда звучит открыто, прямолинейно и тенденциозно. Писатель зачастую избирает и иной прием подачи своих мыслей, пользуясь средствами литературного подтекста, художественных ассоциаций, метафор и аллегорий. Но и тогда герои его исполнены тревоги и трепета. Переплетение желаемого и ожидаемого передает их устремленность к лучшему, еще не очень отчетливо вырисовывающимся далям. «Я давно уже убедился, — говорит писатель устами одного из своих героев, — что мы стоим перед дверью в неведомое... Портьера уже дрогнула, и как только растворится дверь, мы либо узреем желанное счастье, либо сделаемся жертвами вечного мрака...».

Герой небольшого произведения «Сердце» — молодой грузин — умер на чужбине, лишенный тепла и заботы родины, в одиночестве и забвении. Профессор, производивший вскрытие, обнаружил поразительный факт: у покойного вместо сердца оказалась горстка пепла. И когда убитая горем мать причитает: «Где твое сердце, твое доброе сердце, которое я с такими муками и страданиями вложила в твою грудь!», — со стены ей отвечает маленькая географическая карта: «Это я иссушила его...». Но слов этих никто не слышал. А со стола вторит фотография: «Я испепелила его».

Писатель ничего не объясняет, да в том и нет нужды: мы без труда догадываемся, что карта, иссушившая сердце героя, — символ его несчастной маленькой родины, а фотография, испепелившая его сердце, — фотография любимой девушки...

Тема любви и тема родины, тесно сплетаясь, занимают большое место в раннем творчестве Нико Лордкипанидзе. Писатель, как подлинный художник-гуманист, раскрывал духовный мир своих героев, окружая несколько романтическим ореолом их чувства. Персонажами своих произведений он избрал далеко не одних рыцарей и людей исключительных. С пристальным вниманием и трепетом изображал он духовную драму маленького человека, обнаруживая тем самым свое понимание смысла человеческого существования, свой взгляд на любовь, печаль, радость — на все, что наполняет и двигает жизнь в ее бесконечном течении, многообразии и противоречиях.

Вот по деревенской проселочной дороге в лунную ночь движется небольшой караван ароб и лошадей. Люди возвращаются с сельского праздника. Возле девушки, сидящей на арбе, — парень. Они клянутся друг другу в верности... «В тени лунной ночи назревает драма, — пишет Лордкипанидзе. — Она не будет запечатлена на бумаге, актеры не разыграют ее. На пестрой доске жизни столкнутся характеры: будет борьба воли, желаний, сил и прав. Поверженный не обрадуется в тени лунной ночи...».

Драма столкновения характеров, воли, желаний, сил и прав отображена и в дилке миниатюр «Артистическое кафе». Действующие лица этих миниатюр уже не наивные деревенские девушки и парни, а опустившийся на дно жизни богемствующий интеллигент и молодая аристократка, избалованная судьбою. Ареной же романтических отношений, зарождающихся между ними, служит не арба и сельский тракт, а «безумный полет автомобиля и оперная ложка».

Потрясающую картину жестокости и несправедливости буржуазно-помещичьего мира нарисовал Нико Лордкипанидзе в новелле «Трагедия без героя». Сложит ее гиперболически одноизен. Измученный голодом отец покидает свою лачугу, чтобы не видеть страданий голодных детей. В припадке голода он сам

съедает единственную лепешку мчади, не слыша мольбы детей. Придя в себя, он осознает весь ужас совершенного поступка и, терзаемый угрызениями совести, кончает жизнь самоубийством.

Поистине головокружителен ракурс событий. Порою кажется, что именно этим событиям, в маленьких габаритах новеллы. Но мастерство писателя в том и состоит, что он сумел упорядочить трудно совместимые нюансы и детали. Обнаженность безудержных человеческих желаний, подстегиваемых инстинктом голода, вовсе не отдаёт привкусом патологии, не снижает критерия художественности. Психологическая подоплека рассказа настолько глубока и сильна, так виртуозно и исчерпывающе раскрыта в нем духовная драма простого человека, что можно смело говорить о подлинной художественной завершенности и гармонии всех его компонентов.

Эти несколько примеров из ранних произведений Нико Лордкипанидзе дают нам представление о широте его творческого диапазона и свидетельствуют о том, что он является достойным продолжателем великой патристической и гуманистической традиции грузинской литературы — традиции беспощадного обличения темных сторон действительности. Эту традицию, которая характеризует грузинскую художественную прозу на протяжении всего пути ее развития, начиная с творчества старых мастеров вплоть до замечательных ее представителей второй половины XIX века, Нико Лордкипанидзе непосредственно воспринял от своих старших современников. Мы имеем в виду трех блестящих представителей грузинской беллетристики конца XIX — начала XX веков — Давида Клдашвили, Василия Барновца, Шию Арагвиспирели, увенчавших своими произведениями эволюцию критического реализма и знаменовавших собою возникновение художественной прозы нового времени.

С Давидом Клдашвили Нико Лордкипанидзе роднит интерес к тематике «разрушенных гнезд», мотивы разложения и распада феодального мира; с Василием Барновым — неистощимый творческий интерес к прошлому грузинского народа, его многовековой богатой истории; к Шию Арагвиспирели он приближается своим четко сформулированным социальным кредо и теми психологическими этюдами и картинами, которые пронизывает страстный протест против мрачной действительности предоктябрьских лет.

Приведенные аналогии свидетельствуют о том, что творчество Лордкипанидзе имеет глубокие корни на плодородной ниве родной литературы. Именно это помогло ему устоять перед соблазном подражания модным литературным течениям начала века, которые, как уже отмечалось, сопутствовали его вступлению на поприще литературы.

Впрочем, было бы неверно утверждать, что молодому писателю удалось вовсе оградить себя от некоторых влияний этих течений. В его рассказах той поры нет-нет да и мелькают настроения апатичности и эстетизма, безнадежности и отчаяния. Но, несмотря на эти, так или иначе просачивающиеся негативные тенденции, творчество Нико Лордкипанидзе в основе своей определялось исконной связью писателя с реализмом, с идеями прогрессивными, демократическими.

Нико Лордкипанидзе никогда не был эпигоном и подражателем. Он ясно выражал свое отношение к явлениям жизни, к людям, к духу времени, обладал ярко выраженной индивидуальной манерой повествования, сугубо своеобразным видением мира и манерой его изображения. Он сумел сказать свое слово в литературе и занял в ее истории видное и совершенно особое место.

Художественная правда — высший закон творческой жизни Нико Лордкипанидзе. Пишет он светлыми, ясными красками. Его художественный стиль свободен от всякой манерности, искусственной сложности, неясности. С особым вниманием относится он к языку, с ювелирной тщательностью чеканит образ и фразу, каждое слово. Эту филигранную работу мастера характеризует высокий уровень художественной простоты, полная внутренняя свобода. Отсюда — возникающее порой ощущение, что и вовсе не было этих долгих и упорных авторских поисков формы и стиля, настолько не довлеют они в повествовании, полностью сливаясь с мыслью, в нем изложенной, с содержанием.

Художественный такт, безошибочный вкус и редкое чувство меры — вот черты, присущие Нико Лордкипанидзе с самого начала его творческого пути. Он обладает удивительным чувством композиции. Подлинное мастерство в распределении и сочетании красок отличает его писательскую манеру. Каждый рассказанный им эпизод, каждую нарисованную им картину характеризует глубоко внутреннее спокойствие и сдержанность. Именно этой сдержанной и спокойной манерой повествования волнует он читателя. Лаконизм, скупость в выборе художественных средств — пожалуй, самая отличительная черта его литературного почерка.

Нико Лордкипанидзе не оставил после себя больших эпических полотен. Но миниатюры, новеллы и рассказы его поражают богатством и разнообразием тем и идей. Малый объем произведения никогда не мешал писателю раскрывать во всей полноте характеры героев, разворачивать перед читателем историю их жизни и давать богатую панораму целой эпохи.

Возьмем к примеру «Женщину в платке» — одно из лучших произведений не только в творческом наследии Нико Лордкипанидзе, но, пожалуй, во всей грузинской современной прозе. Рассказ занимает всего семь страниц. Но и этих страниц оказалось вполне достаточно, чтобы создать удивительно яркий, живой образ героини, ее характер, который по силе и завершенности выразительных средств можно поставить в один ряд с «Отаровой вдовой» Ильи Чавчавадзе, этим неуязвимым шедевром реалистического искусства.

Перед взором читателя проходит вся жизнь героини, исполненная глубокого драматизма. Мы успеваем узнать об этой женщине все, начиная с момента ее сватовства, кончая тем, как ее бездыханное тело находят в каком-то глухом тупике. И нет в описании ни схемы, ни сухости, ни эсизности. Рассказ поражает подлинной художественностью воплощения, глубоким и тонким проникновением в духовный мир героев. Мы видим сочно и живо нарисованные бытовые картины, характерные для жизни старой Имеретии, повседневные заботы и радости обыкновенной семьи, неожиданность свалившегося на семью горя — смерть ее главы и последовавшие за этим муки и страдания вдовы, обреченной нести свой крест, ее одиночество, нужду, а затем и ее гордый и трагический конец — самоубийство от сознания своей ненужности людям и посмертное письмо, в котором скупо сказано: «Ушла молиться в святые места, обо мне не беспокойтесь».

Нико Лордкипанидзе вложил в образ героини, как говорится, частицу своего сердца. Маленькая, незаметная героиня рассказа, ставшая почти символическим понятием — «женщиной в платке», — она вобрала в себя многие высокие достоинства, присущие женщинам-грузинкам. Патетика страдания человека сливается с патетикой его достоинств и гордости, и в этом сочетании создается неповторимо величественное и глубоко потрясающее чувство. Иной писатель мог бы написать на эту тему целый роман или эпопею. Нико Лордкипанидзе вместил огромный жизненный материал в рамки небольшой новеллы.

У каждого писателя есть одно какое-то произведение, в котором с наибольшей полнотой раскрывается его творческая индивидуальность. «Женщина в платке» для Нико Лордкипанидзе — именно такое произведение.

На редкость точную картину тяжелой жизни дореволюционной грузинской деревни дал писатель в рассказе «Ради очага». В центре повествования — история бедного крестьянского парня Миная. В этой истории, так же как в рассказе «Женщина в платке», писатель достигает огромного обобщения — в рассказе раскрываются социальные проблемы, дается атмосфера целой эпохи и в сценах описания крестьянского быта, и во взаимоотношениях героев, и даже в картинах природы. Автор сгущает краски, настроение тягостности и безысходности превалирует в его описаниях, но при этом описательная часть характеризуется подчеркнуто беспорядочным, словно хаотическим расположением красок и мотивов. Нетрудно догадаться, что здесь проявляется та импрессионистическая настроенность, к которой часто прибегает Нико Лордкипанидзе и которая весьма характерна для его творческого почерка.

Но импрессионистическая манера не скрывает его в выборе средств, не заслоняет от него главного — реальности. Рассказ начинается обыкновенной бытовой сценой — братья разделили меж собой нищенское хозяйство, и после раздела каждый из них оказался еще беднее, чем был. Младший брат, Минай, решил попытать счастья на стороне. И начинается история его поисков, отнюдь не забавных приключений, разочарований, обманутых надежд, мимолетных радостей. Бешеный натиск волн жизни все дальше отбрасывает его от берега надежды — от родного очага, который наконец вовсе уничтожили и обратили в прах. Жестокость жизни рушит родное гнездо человека и обрекает на катастрофу все его надежды и стремления. Таков смысл этого рассказа.

Этим произведением Нико Лордкипанидзе отдал своего рода дань критической, обличительной традиции грузинского реализма конца XIX и начала XX веков.

Мотивы эти особенно ярко проявились в цикле новелл «Разрушенные гнезда». Обреченность, безысходность господствуют и здесь. Автор рисует глубоко драматические картины разорения и разложения дворянского общества. Персонажи новелл — последние представители феодальной аристократии, обре-

ченные на гибель. Повествуя об их участи, автор прибегает к художественной аналогии — в прологе он изобразил ютящихся в гнезде ласточек, не успевших улететь в теплые края. Аналогия не выглядит навязчиво, претенциозно. Она, как аналогия, лишь рождает ассоциации, и через эти ассоциации проступает порою сочувственное отношение писателя к гибнущему сословию.

Да, он обличает уходящий мир, не приемлет его устоев и принципов. Стихия разрушения превосходит повествованием. Но, констатируя разложение и смерть, автор ведет читателя по сложным и запутанным лабиринтам духовной драмы представителей разоряющегося сословия, показывает их внутренний разлом, противоречивость мыслей. Человек со всеми его переживаниями стоит в центре каждой из новелл. Человек, сохраняющий и в гибели свое человеческое достоинство, свою гордость. Это ощущается в каждой строке «Разрушенных гнезд».

Изображение разорения и деградации феодального строя имеет давнюю традицию в художественной литературе вообще, и в частности — в грузинской литературе. Начиная с Георгия Эристави и Лаврентия Ардазани, виднейшие представители критического реализма посвятили этой теме множество замечательных произведений. Давид Квдшавили увенчал эту традицию, избрав основной темой своего творчества процесс распада и разложения дворянства, его полный экономический и моральный крах. Но благодаря своему мощному и оригинальному дарованию Нико Лордкипанидзе сумел увидеть и осветить эту тему с совершенно новой точки зрения, дать ей новое и своеобразное художественное толкование. Поэтому, читая «Разрушенные гнезда», мы не ощущаем, что где-то уже созерцали эти картины.

Как и в прежних своих рассказах и новеллах, писатель прибегает к излюбленному методу — на примере одной семьи он показывает разложение целого строя. Сцены разорения, упадка, деградации некогда богатой и влиятельной семьи чередуются у него со сценами, в которых показано «былое величие» героев. Прием контраста отмечены также новеллы «Старик из того мира», «Альбом» и др. В авторских описаниях и здесь порою проскальзывают нотки сожаления и грусти по отношению к гибнущим людям. Достаточно вспомнить в этой связи новеллу «Бюст». Автор, от лица которого ведется повествование, находит среди старого хлама и рухляди запыленный бюст, изображающий, как выяснилось, хозяйку дома. Внутри бюста автор обнаруживает пожелтевшее от времени письмо мужа этой женщины. Письмо это — само по себе законченное художественное произведение, отмеченное печатью характерного для Нико Лордкипанидзе предельного лаконизма. Всего в нескольких строках писателю удается живо и впечатляюще передать не только историю своего героя, но и историю целого дворянского сословия.

Каждая строка письма раскрывает процесс не только материального обнищания феодального сословия, но и его морального оскудения. Текст письма — великолепный образец максимальной идейной нагрузки слова в реалистическом искусстве.

Когда писались «Разрушенные гнезда», в Грузии еще достаточно сильны были пережитки феодализма. Дворянство являлось одной из активных общественных сил в стране. Господствующий класс и не помышлял мириться с мыслью о своей обреченности, и, уж конечно, не собирался без борьбы покидать историческую арену. Именно поэтому «Разрушенные гнезда», в которых нарисованы картины вырождения дворянства, несмотря на некоторую ограниченность мировоззрения автора, имели в целом большое прогрессивное значение. Заметим тут же, что позднее, уже после победы социалистической революции, писатель пересматривает свои позиции. Теперь он смотрит на этот мир уже иными глазами — с иронией и насмешкой. Эти иронические, юмористические интонации вообще присущи творчеству Нико Лордкипанидзе. Ими пронизаны его «Феодалы», «Деревенский ухажер», «Епископ на охоте», «Бурдюк», «Богатырь» и другие произведения, по праву относящиеся к лучшим образцам современной грузинской прозы.

Творчество Нико Лордкипанидзе отличается редким богатством и разнообразием тематики. Арсенал изобразительных средств писателя поистине неисчерпаем. С удивительным мастерством он умеет сочетать тонкий юмор с колкой иронией, острую драматическую напряженность с мягким лиризмом. Писатель поражает неожиданностью сюжетных поворотов и коллизий, быстрой сменой ритмов, настроений, жанровым изобилием. Каким широким должен быть диапазон писателя, с одинаковой силой изображающего тягужу двух крестьянских семей из-за бурдюка («Бурдюк») и историю поездки в Сибирь жены и маленьких детей к заключенному мужу и отцу («На свидание»)! Как впечатляют

его герои, каждый из которых неповторимо своеобразен и определенно привязан к своему классу, сословию, социальной среде! И над всем этим богатством и разнообразием нюансов и деталей, над неисчерпаемой писательской щедростью Лордкипанидзе встает одно, пожалуй, самое драгоценное качество его как художника — любовь к Человеку. Именно это чувство просится через все свое творчество.

Как уже отмечалось, одним из источников вдохновения Лордкипанидзе было историческое прошлое Грузии. Интерес к прошлому родного народа характеризует его как преемника и продолжателя лучших традиций грузинской классической литературы минувшего столетия.

Чувство горячей любви к родине, к ее славной героической истории никогда не мешало Лордкипанидзе трезво оценивать явления прошлого и отображать их в неприкрашенном свете. Исторические произведения писателя свободны от идеализации и излишней романтизации. С суровой беспристрастностью обличает он жестокость аристократии по отношению к народу, междоусобицу и распри князей и крупных феодалов, разнузданный партикуляризм, царящий в мире. Рисуя роскошь и великолепие господских дворцов с их церемониями и ритуалами, образы их владетелей — людей мужественных, с твердым характером и сильной волей, писатель одновременно показывает, сколько зла, жестокости, бесчинств творили они, сколько низости и разврата скрывалось в этих внешне блестящих и благопристойных кругах.

По силе обличения феодального строя исторические произведения Лордкипанидзе занимают совершенно особое, исключительное место во всей грузинской художественной литературе. И если даже в центре этих произведений стоят представители господствующих классов, главный пафос их — в изображении невыносимо тяжелой жизни трудового крестьянства, стонущего под игом рабства и тирании. Потрясает суровая правда, с которой изображает писатель нищету, голод, беспросветный мрак, окутывающий жизнь народа, его полное бесправие перед властью имущими, попирающими достоинство и жизненные интересы трудящегося человека.

Потрясающие картины дикой, нечеловеческой жестокости показаны в новеллах «Лихолетье» и «Грозный властелин». Произведения эти наиболее характерны для исторических опусов писателя с точки зрения подхода автора к собственно теме. Обе новеллы отнюдь не повествуют о жизни и боевых подвигах какого-либо известного исторического лица. Читатель не найдет в них достоверных сведений и фактов — автор не локализует события понятиями времени и пространства. Он изображает лишь характерную для данной исторической эпохи обстановку, с помощью вымышленных ситуаций, но типических образов передает дух эпохи, ее атмосферу и четко определяет свою авторскую концепцию.

В рассказе «Лихолетье» оживает тяжелая пора в истории Грузии, когда она, расчлененная на отдельные мелкие княжества и царства, обессиленная неравными кровопролитными схватками с внешними врагами, погруженная в хаос феодального партикуляризма, с трудом отстаивала свое существование. Политические и экономические устои страны подрывала ожесточенная борьба крупных феодалов за трон, в погоне за которым они пренебрегали интересами народа и государства.

Действие новеллы разворачивается на этом фоне. Незаконный наследник имеретинского престола, умственно неполноценный и морально разложившийся человек, захватил власть в свои руки. Произвол и насилие господствуют в стране. Море слез и крови затопило маленький клочок земли. Простые люди обречены на горе и страдание...

В новелле снова проявился удивительный дар Нико Лордкипанидзе — живо, явственно воссоздать события и образы людей давно минувших времен.

Выбор темы, художественных средств, историческая концепция автора роднят такие произведения писателя, как «Лихолетье» и «Грозный властелин». В монументальном образе Грозного властелина Левана писатель раскрывает характер феодального деспота, который, свергнув собственного брата, восстал против сироты-племянника и наводит страх на всех окружающих.

В обеих новеллах писатель беспощадно обличает феодальную аристократию, показывает ее полное разложение. Диалоги женщин-челядинок Левана, история взаимоотношений его с женой Цицино, ее отношение к Вахтангу, заключенному Леваном в темницу, жесточайшая сцена гибели Вахтанга и Цицино, описанная автором с редкой экспрессией и силой, — все это говорит о том, что господствующие, правящие круги погрязли в пороках и зле.

Но Лордкипанидзе не только описывает картины несправедливого насилия и жестокости. Он идет дальше, глядит в глубь событий и фактов и приходит к мудрому и нелицеприятному выводу: атмосфера жестокости, насилия, которая царит в стране и которую насаждают господствующие классы, есть и простой народ.

Но как бы ни были впечатляющи картины жестокого и мрачного мира, пожалуй, главный пафос исторических новелл Лордкипанидзе составляет вера автора в предстоящее возрождение единой и сильной Грузии. Вера эта выражена в словах одного из героев произведения «Лихолетье» — старика Отин, фанатично мечтающего об иных временах: «Наш день настанет, когда-нибудь, без сомнения, настанет». Ожившие под пером Нико Лордкипанидзе картины далекого прошлого нашей страны проникнуты чувством национальной гордости и духом оптимизма.

Мировоззрение и творческая индивидуальность Нико Лордкипанидзе сформировались в период, предшествовавший Великой Октябрьской социалистической революции. Победу Советской власти он встретил уже вполне сложившимся писателем. Тем не менее, подобно многим другим большим художникам, лучшим представителям дореволюционной творческой интеллигенции, он испытал сильное влияние советской эпохи и ее светлых идеалов. После революции Нико Лордкипанидзе создал целый ряд наиболее значительных своих произведений.

Теме рождения и становления нового человека он посвятил рассказ «Скульптор». Автор повествует о том, как новая жизнь подняла и приобщила к творчеству простого парня, выросшего в страшной нищете и темноте.

В 1927-28 гг. Нико Лордкипанидзе опубликовал большую историко-революционную повесть «С тропинок на рельсы», посвященную истории революционного пролетарского движения в Грузии в начале нашего столетия. Произведение это оказалось весьма значительным не только для творческой биографии самого писателя, но и для всей грузинской советской литературы.

Повесть эта — одно из первых произведений грузинской художественной прозы, в котором ярко и убедительно показана руководящая роль коммунистов в революционной борьбе нашего народа против помещичье-капиталистического строя. Здесь впервые мы видим целую галерею образов рабочих-коммунистов, стоящих во главе рабочего движения, их непримиримую борьбу против эксплуататорских классов, против либеральной интеллигенции и меньшевиков-ликвидаторов, против буржуазно-националистических партий и предателей интересов народа всех мастей.

По обыкновению, Нико Лордкипанидзе и здесь не дает изображения какого-либо конкретного исторического события или описания жизни реально существовавшего представителя революционного движения. Нет, он создает галерею типических образов, воплотивших в себе антагонистические социальные силы эпохи, и создает сюжет, характерный для данной социальной обстановки.

Этим произведением Нико Лордкипанидзе заложил основы замечательной творческой традиции изображения в литературе славной эпопей революционной борьбы Коммунистической партии. К сожалению, эта традиция до сих пор не нашла еще должного развития и разработки. Героическая революционная борьба нашего народа под руководством большевиков на протяжении двух первых десятилетий XX века все еще ждет своего достойного художественного воплощения в грузинской литературе, и в частности — в художественной прозе. Тем более очевидны положительная роль этой повести Нико Лордкипанидзе и важное место, которое она занимает в развитии грузинской литературы.

В последние годы жизни писатель опубликовал рассказ «Непокоренные», в котором воплотился героический дух нашей эпохи, готовность советского человека на самопожертвование во имя Родины. Рассказ появился в грозные годы Отечественной войны, в обстановке всенародного патристического подъема и прозвучал как горячий и проникновенный гимн самоотверженной борьбе народа за Родину. Первейший и надежнейший залог бессмертия человека — служение Отчизне и готовность по первому зову ее принести в жертву себя и свою жизнь. Художественному воплощению и утверждению этой мысли посвятил Нико Лордкипанидзе последний запас своей жизненной и творческой энергии.

Незадолго до смерти опубликовал он еще один рассказ — «Возвращение пленного». Сюжет его заимствован опять-таки из истории грузинского народа. Как могуществен народ, как неодолима сила его, возрождающая все то, что было разрушено войной, какой любовью и поистине материнской заботой окружает народ вонна, исполнившего свой долг перед родиной! Таково содержание этого произведения.



Созвучной беспримерному патриотическому подъему советского народа в годы Великой Отечественной войны была и работа Нико Лордкипанидзе над давно задуманным им большим историческим произведением «Давид Стрелителъ». К сожалению, смерть прервала его труд, но опубликованные фрагменты произведения свидетельствуют о глубоком и верном знании материала, о подлинном творческом горении писателя, о его отточенном мастерстве.

До последних минут жизни Нико Лордкипанидзе не прерывал своего вдохновенного, отмеченного высоким талантом, пронизанного негасимой любовью и и преданностью народу и Родине, творческого труда.

Творческое наследие Нико Лордкипанидзе вошло в золотой фонд грузинской литературы XX столетия. Оно имеет непреходящую эстетическую и познавательную ценность.

## ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ С КОТЭ МАРДЖАНИШВИЛИ

(К 100-летию со дня рождения)

### 12 октября.

У нас премьеры сыплются как горох. 15-го — «Светите, звезды» Микитенко, 17-го — «Старый энтузиаст» Яшвили и через месяц новая пьеса Карло Каладзе «Дом над Курой».

«Светите, звезды» репетируется великолепно. Повезло С. Челидзе: у него заняты — В. Анджапаридзе, Ц. Цуцунава, Х. Чичинадзе, Ш. Гамбашидзе, С. Жоржوليани, одним словом — корифей (показал бы мне за это слово Константин Александрович). Сережа, чтобы выглядеть настоящим режиссером, надел очки и велел поставить на стол бутылку лимонада. Относятся к нему все совершенно серьезно.

Что касается «Старого энтузиаста» — это не пьеса, а сплошное недоразумение. Марджанишвили старается что-то придумать, но материал слишком уж слаб, и мы все, воплотители этого произведения, тихо саботируем. Работать мучительно, а Константин Александрович делает вид, что все великолепно. Вчера мы обедали у В. А. и Ладосвимонишвили, там были гости, и Константин Александрович рассказывал, что его особенно умиляет любовь Яшвили, рабочего, к театру.

### 22 октября.

Скучали на репетиции Додо «Дом над Курой». Репетиция шла вяло, нудно. Появился на минутку Константин Александрович, позвал меня и Лелю Гогоберидзе к себе в кабинет.

— Никогда я не жил так скучно духовно, — сказал он нам, — и все из-за затхлости, которую развели в театре.

Вошел директор с какими-то счетами. Марджанишвили, морщась, подписал их.

— Ненавижу арифметику, — сказал он. — Она воняет керосиновой лавкой, так, кажется, сказал Илья Эренбург.

Директор посмотрел на него с недоумением. Не сомневаюсь, что он считает Марджанишвили ненормальным человеком.

Константин Александрович почему-то сердится на Карло Каладзе:

— Пусть не воображает, что он как автор может командовать в театре. Передайте это вашему Карло.

Оказывается, Карло занимается самоуничижением, говорит, что он не драматург, что пьеса плоха и т. д. А Марджанишвили, наоборот, находит, что у него все данные стать хорошим драматургом.

### 1 ноября.

Скоро праздники, и к этим торжественным дням готовится премьера «Дом над Курой» Карло Каладзе. Очевидно, пьеса будет иметь успех, и не нравится она одному только драматургу. А Константин Александрович собирается в Москву, где договорился с Малым театром и коршевцами (Фурманова уже пишет мне нежные письма и прислала коробку всевозможной парфюмерии).

Одновременно в Тбилиси Марджанишвили замышляет что-то грандиозное с участием драматических актеров и актеров цирка. Художниками будут Петя Оцхели и Ираклий Гамрекели, а композиторами — я и Андриуша Баланчивадзе. Все это он держит в абсолютной тайне, заставил меня поклясться «прахом»

«родителей», что я никому не проговорюсь, а сегодня повел меня в цирк (тут-то я поняла, что постановку эту он проектирует выполнить в цирке).

Когда мы входили в цирк, Константин Александрович сказал робко:

— А вдруг Гамсахурдия не разрешит мне воспользоваться своим помещением и артистами?..

Я даже возмутилась.

— А ты что воображала? Я — жалкий режиссеришка в сравнении с тем высоким профессионализмом, который они культивируют. Цирк — это альфа и омега театрального искусства.

Директор цирка Гамсахурдия, старик, похожий на француза, принял Марджанишвили с подобающими почестями и предложил посмотреть репетицию праздничной программы. Мы провели два чудесных часа. Марджанишвили веселился, как дитя. Артисты — сияли. Что и говорить: Марджанишвили 60 лет, а он отдается своим творческим затеям с таким юношеским пылом и энтузиазмом, что внушает восторг и восхищение всем, кто встречается с ним. Почему же он стал таким недоверчивым и хмурым в своем театре? Сущность личности Марджанишвили — совокушность двух начал: широты и многообразия в творчестве, нетерпеливости и неуравновешенности в жизни. Вот мера, с которой к нему надо подходить.

### 11 ноября.

Репетируем старые пьесы. Константин Александрович болеет и вместе с тем собирается в Москву. Все это волнует актеров. Я его почти не вижу, раза два только он предложил мне пойти с ним в цирк, предварительно набив карманы печеньем и сахаром для собачек и черных пони, которых он облюбовал. Он предназначает им ответственные роли в своей постановке.

### 21 ноября.

По вечерам Петя Оцхели и я работаем с Константином Александровичем над пьесой Герцеля Баазова «Немые заговорили». Константин Александрович хочет оставить Додо Антадзе полный план постановки с музыкой и основными мизансценами, так как уезжает в Москву. Петины декорации оригинальны и, хотя выглядят просто, сложны для реализации: одна на другой лежат две площадки, круглые и плоские как диски, причем верхняя то поднимается наполовину, образуя крышу лачуги, то поднимается вверх, представляя комнату второго этажа.

Константин Александрович работает с удовольствием, хотя и говорит, что это не его принцип «создавать спектакль за столом».

### 26 ноября.

Сегодня приступили к пьесе Герцеля Баазова «Немые заговорили». Константин Александрович настаивает, чтобы играл Ушанги Чхеидзе, а тот артачится. Ходит в театр, а играть не хочет.

### 28 ноября.

Сегодня Константин Александрович закончил последнюю репетицию. Наметил всю пьесу, теперь ее будет делать Додо Антадзе, ассистент Додо — Верико Анджапаридзе.

### 22 декабря.

Константин Александрович в Москве. Оставил руководить театром, во время своего отсутствия, Ушанги Чхеидзе<sup>1</sup>. Перед отъездом Марджанишвили в Москву я встретила его на улице, он как раз подъезжал к своему дому. Он велел мне сесть рядом с собой, и мы поехали на его любимое Куджорское шоссе. Тут он мне сказал, что оставляет вместо себя Ушанги, потому что «главное зло театра — женщины все в него влюблены и, следовательно, в театре будет спокойно», а еще ему хочется крепче связать Ушанги с театром. «Испортити мне парня», — добавил он... Потом заговорил о Москве. Он сейчас определит, что будет там ставить, но безусловно — Шекспира и кого-нибудь еще из классиков. Он рад интересной работе и обещал взять с собою Петю и меня.

<sup>1</sup> Первый раз во время своего отсутствия К. Марджанишвили передал руководство театром У. Чхеидзе 13/Х-1931 г. (приказ № 240). Оставляя он его руководителем театра и в последующие свои поездки в Москву, о чем говорят многочисленные приказы, подписанные У. Чхеидзе, хранящиеся в архиве театра им. К. Марджанишвили.

6 января 1932 г.

Получила письмо от Константина Александровича, отосланное 28 декабря прошлого года, и сейчас же следом — от 29 декабря. В первом письме он пишет, что много думает о театре и ему больно сознавать, что мы успокоились. «Вы думаете, что всего достигли: и знаний, и техники, и вам остается только пожинать лавры. А я-то дожил до седых волос и до сих пор не догадался попробовать, что это за фрукт лавры? Мне 60 лет, я болею театром с пеленок, и мне жалко, что я скоро умру и так мало сделал, так ничтожна моя работа в сравнении с тем, что подсказывает нам жизнь, особенно наша замечательная эпоха. А вы уже успокоились. Это тоже смерть, не физическая, а хуже — духовная. Опомнитесь, пока не поздно...»

Он пишет о Верико: «Верико мне пишет: «Мне важно не Ваше отношение ко мне, а мое к Вам». Ну и шельма!». И до чего другое по настроению письмо, написанное буквально на следующий день. Марджанишвили приобрел билеты на все девять симфоний Бетховена под управлением немецкого дирижера Оскара Фрида. Тут и сказала его натура: впечатление от прочитанной книги, увиденной картины, даже удачного слова, предвкушение наслаждения от ожидаемого концерта, любое событие немедленно заражают и увлекают его, и так как он не умеет ничего переживать в одиночку, то он тут же написал мне, вложил в письмо программы всех девяти концертов, и не сомневаюсь, что после каждого будет писать о своих впечатлениях, как бы занят ни был. Ему никогда ничего не лень, и на все он находит время. Вот эта общительность особенно привлекательна в нем.

12 января.

Получила письмо от Константина Александровича. Видимо, он скучает без нас, а здесь называл нас «богопротивными рожами». Письмо полно дурных словечек, нарочно — знает, что я этого не люблю. Между прочим, он согласен со мной относительно музыки к «Грозе» Островского для Москвы. Петя Оцхели сделал изумительные наброски: как он любит — единая установка на все акты. Станок на всю сцену — круглый бугор, похожий на хлебный каравай. И вот на этом холме он построил город-колокол. Тяжелые церковные колокола придавили город, погребли все живое. Я нахожу, что этот старообрядческий дух и есть основа петинного разрешения спектакля. Константин Александрович писал Пете, что он хочет применить в постановке волжские песни и даже начать спектакль с прохода бурлаков и «Эй, ухнем». Я ему откровенно написала, что если он хочет использовать декорации такого самобытного художника, как Петя, то должен забыть о передвижниках и Шаляпине, и вот получила ответ:

«Твое предложение базироваться главным образом на великопостном благовесте и старых церковных напевах мне по душе, и так как долгие годы общения с тобой убедили меня, что для своего спокойствия, надо оставлять последнее слово за тобой, решил, что музыку к «Грозе» будешь писать ты. Я обещал эту пьесу Андрею Баланчивадзе, но не беда, я ему дам другую. Что касается Шаляпина — не нахаль! Бурлаки будут. Лучше подумай о финале...» А что там думать? У Пети все подсказано. В последнем акте холм обнажен, только на макушке беседка, где пируют, а все основание холма опоясывает освещенная луной светлая дорога, в глубине справа доходящая до пристани, с которой бросается в реку Катерина. Вот тут пригодится волжская песня... откуда-то, издалека...

Я хотела поговорить об этом с Петей, а ему не до этого: его этажи, похожие на тарелки, в пьесе Баазова не поднимаются и не опускаются. Он целыми днями в декорационной шпесте с Г. Галустовым, изобретает подъемник. Это — в макете. А каково будет в декорациях?

18 января.

Письмо Константина Александровича, высланное 10 января, получила сегодня. Опять масса впечатлений от бетховенского цикла под дирижерством Оскара Фрида.

Удивительный он человек — вначале его бесило поведение О. Фрида, его грубое отношение к публике, требование полнейшей тишины, а уж в этом письме его так захватила великолепная интерпретация О. Фрида бетховенского цикла, что он уже влюбился «в этого старинашку» и говорит, что вполне его понимает и благодарен за то наслаждение, которое он получил на концерте.

31 января.

Письмо от В. Г. Яна. Между прочим, он пишет: «Я говорил о «жесткости» хронометража с Голейзовским. Этот чародей танца сказал, что хронометраж предварительный делается нарочно более сжатый, так как композиторы обычно раз-

вораживаются, и поэтому нужно им предоставить некоторую гибкость. А затем, имея твердый клави́р, балетмейстер уже строит новый, окончательный хронометраж пантомимы и танца...». Замечательно! Ведь это принцип работы над пантомимой К. А. Марджанишвили.

#### 4 февраля.

Письмо от Константина Александровича. Все интересы как будто в Москве. Прислал мне целый реестр своей будущей работы. А вместе с тем в письмах к Додо говорит о своих планах в нашем театре. Вот и разберись, в чем дело? Театр живет надеждами, а Марджанишвили что-то затевает в Москве.

#### 16 февраля.

Константин Александрович немедленно ответил мне на мое письмо. Я писала ему, что меня тревожат его мысли; он говорит только о будущем (я имела в виду Москву), будто он перечеркнул настоящее. На это он пишет: «Люди вообще говорят либо о прошлом, либо о будущем, потому что настоящее каждую секунду меняется. Вот ты сказала слово, и оно уже стало прошлым. А так как я не люблю копаться в прошлом, это любимое занятие сплетников и стариков, одним словом людей отживших, то делаю проекты на будущее. Не понимаю, почему это всех вас так страшит? И к чему я с тобой откровенничаю? Ты такая же подлюга, как и все: навязываете мне охлаждение к своему театру, но зарубите у себя на носу, что я никогда не был ни предателем, ни изменником».

#### 4 марта.

Вчера приехал Константин Александрович, а сегодня провел изумительную репетицию пьесы Баазова. Мы уже соскучились по тому наслаждению, которое испытываем каждый раз, работая с ним. Роли для актеров просто находка. Верико, Пьер Кобахидзе, обе Цецилии — Цуцунава и Такайшвили, Васо Годзишвили, да и другие дают такой типаж грузинских евреев, что боюсь, наш еврейский квартал не оставит местечка в театре для других зрителей. Подумать только — ведь это целая эпоха, событие: первая пьеса о грузинских евреях, идущая на большой сцене, притом автор вышел из их среды.

Константин Александрович внес очень значительные поправки, хотя и похвалил всех актеров.

#### 16 марта.

Репетируем без К. Марджанишвили. Настроение в театре упало, даже похвалы его всем участникам пьесы «Немые заговорили» не прибавили энтузиазма. Непонятно — актеры говорят, что увлечены этой работой, а опаздывают, не являются на репетиции. Ушанги Чхеидзе подписывает нескончаемые приказы, а Додо Антадзе не дает спуска — не вдаваясь в споры, требует полного подчинения. Туз Мачавариани мечется, работая над всеми массовками. Очень удачна ритуальная сцена обращения к луне.

#### 24 марта.

Приехал К. А. Марджанишвили, и все ожило. Как нам не хватало авторитетного, пользующегося доверием хозяина. Свобода мнений и действий — хорошая вещь, но у нас свобода обернулась столкновением разных точек зрения на правильность работы нашего театра. Актеры, главным образом старшее поколение, действительно волнуются за родной театр. Нам, старшим ученикам К. А. Марджанишвили, с ним вместе надо принять меры, чтобы избавиться от недобросовестной критики, предвзятости, которые никогда не бытовали среди нас, но Константин Александрович на днях уезжает в Москву, и все остается по-старому.

#### 25 марта.

...23 и 24 марта Константин Александрович провел последние свои репетиции пьесы «Немые заговорили». Он уезжает в Москву надолго, и премьеру без него выпустит Додо Антадзе. К. Марджанишвили сказал, что все в порядке и можно выпустить спектакль через неделю. Пьеса в сущности готова. Остановка только за декорациями.

#### 30 марта.

Додо Антадзе привел двух инженеров-механиков, которые установили на сцене машину-подъемник, она приводит в движение Петины площадки. В театре называли это сооружение: Марджангэс.

Продолжение следует.



## О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА И Д. К. КИПИАНИ

«...Только для тех сохраним наше удивление, которые, опережая свою эпоху, имели славу предусматривать зарю грядущего дня, имели мужество приветствовать его приход».

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

По свидетельству Н. В. Шелгунова. характерной чертой молодежи конца 50-х — начала 60-х годов XIX века было ее тяготение к Петербургу. Это тяготение объяснялось тем, что в Петербурге имелись самые передовые для того времени учебные заведения, в первую очередь, университет, в котором преподавали выдающиеся ученые, радикально мыслящие профессора. Кроме того, Петербург имел прекрасные революционные традиции, заложенные первыми поборниками «святой воли» — Радищевым, декабристами и петрашевцами. И наконец, тем, что благодаря могучему взлету русской культуры, пропагандистской и организаторской деятельности Н. Г. Чернышевского и его соратников Петербург из административного центра превращался в главный революционный и умственный центр России, в «источник общественных идей».

Этот подъем культурной жизни был обусловлен резким усилением и углублением противоречий русской общественной жизни и обострившейся на этой почве идейной борьбы. Характеризуя политическую обстановку тех лет, В. И. Ленин писал: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян... — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»<sup>1</sup>.

В России впервые в ее истории складывалась революционная ситуация.

Именно в этот период вместе с прогрессивными представителями молодого поколения других национальностей к столице России устремились и грузинские юноши.

Конечно, представители передовой грузинской молодежи для получения высшего образования уезжали в Россию и раньше, но это своеобразное паломничество никогда не носило такого массового и целеустремленного характера, как в начале 60-х годов XIX века.

Приезд грузинских юношей в Петербург, в основном, был обусловлен двумя факторами:

Во-первых, разложением феодально-крепостнической системы и ростом новых, товарно-денежных отношений, которые вывели Грузию на орбиту мирового товарного обращения и вызвали потребность в соответствующих эпохе специалистах. Этот важный исторический процесс замечательно охарактеризован В. И. Лениным в труде «Развитие капитализма в России».

Во-вторых, пробуждением грузинской нации и ростом национально-освободительного движения, которое носило в те годы характер стихийных крестьянских бунтов. Это движение нуждалось во всесторонне подготовленных руководителях, вооруженных опытом революционной борьбы других народов. А этот опыт представители передовой грузинской молодежи могли приобрести только в России.

Таким образом, уезжая в Петербург, будущие грузинские «шестидесятники» ставили перед собой двойную цель — общеобразовательную и революционную, о чем свидетельствует и одно из писем участника демократического движения студенчества 1859—1861 годов Н. В. Гогоберидзе. «Постарайтесь, друзья мои, — писал Николоз своим младшим братьям Давиду и Иосифу, — получить знание и обогатиться опытом, которые являются первыми сокровищами для человека. Будет очень жаль, если вы не

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 26—27.

воспользуетесь столь подходящим для вас временем и не оправдаете тех надежд, которые возлагает на вас родина. В условиях сегодняшнего Петербурга... легко можно обогатиться тем опытом и изучить ту тактику (имеется в виду теория и практика революционных демократов.— Г. М.), которые так необходимы для нас в борьбе с невежеством и рутинной (т. е. крепостничеством и самодержавием. — Г. М.)»<sup>2</sup>.

Поэтому вполне естественно, что, приехав в Петербург, грузинские юноши с первых же дней своего пребывания в столице России должны были приступить к осуществлению своих целей — попытаться наладить связь с передовой молодежью эпохи и сблизиться с революционными демократами. Осуществлению этих целей во многом способствовала их учеба в Петербургском университете. Пребывание в университете облегчало грузинской молодежи возможность наладить контакт с передовыми кругами русского общества.

Судя по списку студентов, окончивших полный курс Петербургского университета в 1860 году, первыми лауреатами, прибывшими в столицу России для получения высшего образования летом 1856 года, были Петрэ Накашидзе, Иванэ Туманишвили и Давид Кипиани. Первый из них поступил на факультет восточных языков, а Туманишвили и Кипиани — на юридический.

Конечно, эти данные не могут быть полными, так как в такие списки обычно не вносились имена тех юношей, которые учились в университете, но не сдали государственные экзамены. Утеряны и личные дела некоторых студентов. Если верить этим спискам, с 1827 по 1862 годы Петербургский университет окончил 31 грузин<sup>3</sup>. Действительно же в его стенах только в 1856—1862 годах учились до 70 посланцев Грузии.

Значит, можно предположить, что в 1856-1857 учебном году в Петербургском университете учились не трое, а большее число грузинских юношей. И это предположение подтверждается таким авторитетным источником, каким является журнал «Современник».

Так, в 7 и 8 номерах журнала «Современник» за 1857 год напечатана статья «О Турции и Персии». Под этой статьей стоит подпись — М. Гамазов (М. Гамазашвили.— Г. М.). По нашим данным, эта фамилия зафиксирована в четырех источниках, а именно:

<sup>2</sup> ЦГАОР, ф. 109, опись 214, ед. хр. 492, л. 51, на груз. яз.

<sup>3</sup> См. книгу В. В. Григорьева «Имперский С.-Петербургский университет в течение первых 50 лет своего существования». С.-Петербург, 1870.

1. В расписке, которую грузинские студенты дали профессору Петербургского университета Давиду Чубинашвили в 1860 году за полученные от него книги. В этой расписке М. Гамазов подписывается восьмым;

2. В списках студентов и вольнослушателей, окончивших полный курс Петербургского университета в 1862 году<sup>4</sup>;

3. В воспоминаниях Н. Николадзе;

4. В письме Н. Гогоберидзе, посланном им из Москвы в Петербург 23 ноября 1862 года<sup>5</sup>.

Во всех этих документах М. Гамазашвили упоминается как М. Гамазов.

Таким образом, можно считать, что автор статьи «О Турции и Персии» М. Гамазов и упомянутый в указанных нами четырех источниках М. Гамазов — одно и то же лицо. Это подтверждается не только совпадением фамилии, но и тем обстоятельством, что в 60-х годах XIX века в Петербургском университете учился и окончил его лишь один представитель этого рода — Михаил Гамазашвили, который, по всей видимости, поступил в это учебное заведение в 1856 году.

Сотрудничество уроженца Грузии в «Современнике» Чернышевского и Добролюбова, разумеется, явление весьма интересное. Оно указывает, что грузинские студенты еще в 1856—1857 годах были связаны с революционными демократами. Но в данном случае этот факт полностью оправдывает нашу версию о том, что в 1856—1857 годах в Петербургском университете учились намного большее число грузинских юношей, чем это зафиксировано в официальных документах.

В 1856 году, когда грузинские юноши поступили в Петербургский университет, в высших учебных заведениях России начались студенческие волнения (только за два года — 1856—1958 — III отделением было зарегистрировано семь случаев студенческих волнений).

Студенческое движение начала 60-х годов имело много специфических черт. В университетах по традиции создавались землячества, кассы взаимопомощи, библиотеки, созывались сходки и так далее. Это были старейшие формы студенческого объединения. Но с течением времени менялось содержание этих форм — легальные и полунелегальные студенческие кружки становились внешним покровом нелегальных революционных организаций. Такой процесс наблюдался,

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> ЦГАОР, ф. 109, опись 214, ед. хр. 492, л. 112.

например, в «Библиотеке казанских студентов» Московского университета и в землячестве польских студентов Петербургского университета.

Д. Кипиани, И. Туманишвили и М. Гамазашвили учились на одном, юридическом факультете, на одном курсе вместе с известным революционером Кастусем Калиновским.

Юридический факультет Петербургского университета ставился своими революционными традициями. Студенты этого факультета привлекли внимание III отделения еще в 40-х годах XIX века, когда Бонифаций Крупский, Михаил Белькевич и другие были арестованы за антикрепостническую агитацию и хранение революционной литературы<sup>6</sup>. На этом факультете эстафета добринок свободы передавалась от поколения к поколению. В начале 60-х годов эту эстафету приняли К. Калиновский и его соратники, которые «провозгласили себя сторонниками «Колокола» и «Современника»<sup>7</sup>.

Революционные традиции юридического факультета, студенческие волнения, демократическая деятельность К. Калиновского и его друзей обязательно должны были оказать влияние на оппозиционно настроенных грузинских юношей — вызвать в их среде такую радикальную форму объединения, какой являлось землячество, и способствовать установлению их связей с членами других кружков. К сожалению, об этом до нас не дошло прямых документов. Но, несмотря на это, исследователи все же располагают фактами для положительного решения данного вопроса. И факты эти оставил нам не кто иной, как сам Н. А. Добролюбов. Мы имеем в виду его дневниковую запись от 13 января 1857 года и его письмо к А. П. Златоустовскому от 23 июня 1857 года.

Правда, эти документы не раз использовались исследователями, но, как ни странно, вопрос о существовании землячества или кружка грузинских студентов всегда выпадал из их поля зрения.

Заново прочтя эти материалы, мы можем говорить не только о знакомстве Н. А. Добролюбова с Д. К. Кипиани, но и о характере их взаимоотношений. Вместе с этим указанные выше документы позволяют нам расширить круг грузинских друзей Добролюбова и высказать гипотезу о существовании первого землячества или кружка грузинских студентов.

Итак, обратимся к фактам.

Прежде всего вспомним, что к этому времени в Петербурге, да и в других

городах России уже существовали подпольные революционные кружки. Вспомним и то, что Н. Г. Чернышевский, с которым познакомившийся с ним в 1856 году Н. А. Добролюбов уже пытаются наладить связь с этими кружками, делают первые шаги для создания руководящего центра всероссийской подпольной организации (по-видимому, об этой попытке и говорится в одном из писем И. И. Бордюгова к Н. А. Добролюбову)<sup>8</sup>.

Н. А. Добролюбов в 1857 году был активным членом кружка Н. Г. Чернышевского, сотрудником «Современника» и пользовался большим авторитетом не только среди своих сверстников, но и людей, намного старше его. Добролюбов был восходящей звездой различного этапа русского освободительного движения. М. А. Антонович, характеризует Добролюбова конца 50-х годов, отмечая страшную силу, непреклонную энергию и неудержимую страсть его убеждений.

И вот эта выдающаяся фигура эпохи в процессе изыскания новых союзников 13 января 1857 года делает в своем дневнике такую запись: «От Татариновых полетел я к восточным студентам, где ожидала меня вторая книжка «Полярной Звезды» ... Трирогов, доставший ее где-то и с которым я в первый раз тут познакомился, очень милый и добрый человек, довольно, кажется, слабым характером и способный к увлечениям всякого рода, от природы, кажется, недалекий, но силившийся рассуждать серьезно и способный к внутреннему развитию ... Другой из студентов, Кипиани (Давид Каихосрович Кипиани. — Г. М.), отличающийся шапкой на голове, состоящей из его собственных волос, должно быть сильная, но сдерживающая себя натура. Разумеется, я с ними толковал весьма мало, потому что передо мною был собеседник поинтереснее. С десяти часов начал я чтение и не прерывал его до пяти утра ... Закрывши книгу, не скоро еще заснул я ... Много тяжелых, грустных, но гордых мыслей бродило в голове ... В половине десятого я проснулся совершенно свежим и бодрым и, напившись чаю, полюбовавшись еще раз на портрет Искандера, который достали они же (разрядка наша. — Г. М.), я с сосредоточенной решимостью обрек себя на страдание Эмертолом...»<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> См. Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, Москва, 1890, стр. 390.

<sup>9</sup> Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в 9 томах. М., 1954, т. 8, стр. 529. Следует подчеркнуть, что исследователи до настоящего времени использовали лишь первую часть этой записи, где речь идет о встрече Добролюбова с Трирозовым и Ки-

<sup>6</sup> См. книгу А. Ф. Смирнова «Революционные связи народов России и Польши», 30—60 г., 19 в., Москва, 1962 г., стр. 136.

<sup>7</sup> См. книгу А. Ф. Смирнова «Кастусь Калиновский», Минск, 1963 г., стр. 27.



Проанализируем эту запись.

Когда читаешь дневниковую запись Добролюбова, на первый взгляд кажется странным, почему он, будучи членом кружка Н. Г. Чернышевского и имея достаточно обширные революционные связи, достает «Полярную Звезду» и запрещенную властями фотографию Герцена с помощью Трирогова и Кипиани. Почему Добролюбов в этой записи, да и в письме к Златовратскому называет Кипиани и его товарищей «восточными студентами», то есть студентами факультета восточных языков, когда они, кроме П. Накашидзе, учились на юридическом? Более того, как смогли два совершенно неизвестных студента организовать столь трудное и рискованное для того времени дело? Ведь «Полярная Звезда» поступала в Россию нелегальными каналами и продавалась некоторыми владельцами книжных лавок из-под полы за очень высокие, недоступные студенческому карману цены или же распространялась «агентами Лондона», например А. С. Гиероглифовым и Н. А. Мордвиновым. Ведь эти каналы и этих людей лучше Трирогова и Кипиани знал сам Добролюбов!

Конечно, не имея нужных сведений, мы не можем точно и полностью ответить на поставленные выше вопросы. Но постараемся это сделать опять-таки с помощью Добролюбова.

Общеизвестно, что в те годы в Петербурге одним из самых организованных и конспиративных был студенческий кружок Главного педагогического института, душой и руководителем которого являлся Добролюбов. По воспоминаниям М. И. Шемановского, в кружке «читались и переписывались те сочинения, которые трудно было найти в нашей книжной торговле; переводились также некоторые сочинения с иностранных языков на русский. Решено было вносить небольшую плату каждым из нас для приобретения редких книг (преимущественно Герцена), на выписку русских журналов и газет. Всем этим главным образом руководил Добролюбов»<sup>10</sup>.

Руководя нелегальным кружком Главного педагогического института, Добролюбов лихорадочно искал пути и средства для борьбы с самодержавно-крепостнической системой, налаживая революционные связи для будущих сверше-

пiani. А так как основой наших предположений является кондовка этой дневниковой записи, то не будет лишним, если отметим, что вторая ее часть вводится в научный оборот нами впервые.

<sup>10</sup> Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников, 1961, стр. 52.

ний<sup>11</sup>. Естественно, что в поисках единомышленников он обязательно должен был связаться и с действующими в петербургских высших учебных заведениях землячествами хотя бы для того, чтобы достать для членов своего кружка те нелегальные издания, о которых идет речь в воспоминаниях Шемановского. Добролюбов уже в те годы имел обширные революционные связи и использовал их для снабжения членов своего кружка нужной литературой. Это подтверждается воспоминанием Б. И. Сциборского: «Каких трудов, — писал Сциборский, — например, стоило достать хоть сколько-нибудь порядочную книгу. Теперь, может быть, каждый из нас имеет под рукой то, что прежде доставалось с громадными трудностями, со страшным риском... Н. Ал., имевший в то время несколько порядочных знакомств, оказал нам в этом случае значительную услугу (выделено нами. — Г. М.)»<sup>12</sup>.

Надо думать, что одним из кружков, с которым установил контакт Добролюбов, и была группа «восточных студентов».

Что в дневниковой записи Добролюбова мы имеем дело с определенной группой молодежи, это подтверждается следующим обстоятельством: когда Герцен выпускал свои сочинения, он считал, что вещи, написанные им, адресованы молодежи, объединенной в оппозиционных кружках<sup>13</sup>. И Герцен не ошибался — молодежь зачитывалась лондонскими изданиями. Однако, несмотря на такую популярность, отдельные студенты, а их было очень много, из-за материальных затруднений приобрести эти издания не могли. Но они все же ухитрялись прочесть их. Это им удавалось с помощью товарищей, объединенных в кружках радикально мыслящей молодежи. Большую помощь оказывали друг другу и кружки. Когда члены одного кружка приобретали «Полярную Звезду», после прочтения они одалживали ее другому кружку или уступали за ту же цену, за которую она была куплена у букинистов или «агентов» Лондона. «Восточные студенты», которые достали для Добролюбова «Полярную

<sup>11</sup> Установлено, что Чернышевский и Добролюбов приступили к консолидации демократических сил для создания всероссийского революционного подполья задолго до 1859 года (см. «Вопросы истории» за 1953 г., работу М. В. Нечкиной «Н. Г. Чернышевский в борьбе за сплочение сил русского демократического движения», стр. 60).

<sup>12</sup> Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников, стр. 109.

<sup>13</sup> См. А. И. Герцен, Собр. соч. в 30 томах, т. XXV, стр. 115. Цитируется по книге «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.» М., 1962, стр. 338.

Звезду» и запрещенную властями фотографию Герцена, могли приобрести ее лишь в том случае, если они были членами одного кружка и действовали объединенными усилиями. По-видимому, эти усилия и имел в виду Добролюбов, когда писал: «... полюбовавшись еще раз на портрет Искандера, который достали они же (т. е. не Трирогов и Кипиани, а группа «восточных студентов». — Г. М.), я с сосредоточенной решимостью обрел себя на страдание за Амартолом». Как видим, наше предположение оправдывается и тем, что Добролюбов слова «восточные студенты» употребляет в собирательном значении.

Студенческие группы и кружки тех лет, как правило, действовали под руководством известных в радикально мыслящих кругах молодежи личностей. А если организация была многочисленной, то она разбивалась на «десятки» и «тридесятки», во главе которых ставились наиболее авторитетные члены революционного союза<sup>14</sup>.

В дневниковой записи Добролюбова даны характеристики Трирогова и Кипиани. С первого же знакомства с этими характеристиками в глаза бросается определенная тенденциозность, Добролюбов противопоставляет их. Первого характеризует как слабовольного и недалекого человека, а последнего — как «сильную и сдерживающую себя натуру». Следовательно, он преимущество отдает Д. Кипиани.

А как же быть с Трироговым, который, по всей вероятности, был одним из активных членов группы или кружка «восточных студентов»? Н. А. Добролюбов, называя в своей дневниковой записи Трирогова и Кипиани «восточными студентами», тем самым наталкивает нас на мысль об интернациональном составе этого кружка. И правда, грузинские студенты, в связи с их малочисленностью, ведь действительно могли объединиться в один кружок с представителями других национальностей: армянами, осетинами, лезгинами, русскими? В таком случае Д. Кипиани действительно мог быть руководителем грузинской «десятки». Какой бы натянутой и неправдоподобной ни казалась наша гипотеза, в пользу нее говорит тот факт, что в первом году революционной ситуации (1859 г.) некоторые члены кружка И. Чавчавадзе и представители армянской молодежи были сторонниками создания именно ин-

тернационального землячества<sup>15</sup>. Нет сомнения, что к такой мысли они могли прийти лишь на основе опыта уже существовавшего в 1856—1857 годах интернационального кружка «восточных студентов», ибо другой такой группы ни в то время, ни в последующие годы в Петербурге не было.

Еще одна интересная и существенная деталь — характеристика Трирогова и Кипиани ставит под сомнение дату знакомства Добролюбова и Кипиани.

Дневниковая запись Добролюбова датирована 13 января 1857 года. Стоит внимательно прочесть эту запись, и каждому станет ясно, что Добролюбов 13 января лишь впервые внес в свой дневник фамилию грузинского юноши, что он и раньше бывал на квартире «восточных студентов», где хозяином был Д. Кипиани. Дневниковая записка явствует, что на этой квартире он 13 января впервые встретился не с уроженцем Грузии, а Трироговым. Добролюбов так и пишет: «Трирогов ... с которым я в первый раз тут познакомился».

При чтении дневниковой записи становится ясным, что Добролюбов хорошо знал, куда и зачем он должен пойти 13 января и с нетерпением ждал этого дня. И как только наступил желаемый день, он, отложив все свои дела, от Татариновых направился к «восточным студентам» — на квартиру Д. Кипиани. А 14 января он задним числом записал в своем дневнике: «От Татариновых полетел я к восточным студентам, где ожидала меня вторая книжка «Полярной Звезды».

Как видим, 13 января 1857 года Добролюбов побывал на квартире Кипиани не впервые и не случайно. Значит, мы можем предположить, что он познакомился с Кипиани не 13 января 1857 года, а гораздо раньше.

Для выяснения дальнейших взаимоотношений Н. А. Добролюбова и Д. К. Кипиани весьма существенным документом является письмо Добролюбова, адресованное им А. П. Златовратскому. Поэтому нам придется процитировать довольно длинную выдержку:

«К удовольствию или неудовольствию твоему, — писал Добролюбов Златовратскому 23 июня 1857 года, — любезный мой Александр Петрович, предполагавшая переписка с тобой должна начаться просьбой с моей стороны. Вот она, без предисловий. Я взял недавно книгу: «Донесение следственной комиссии» о 1825 г., — у студента Кипиани и обещал отдать ему ее до отъезда. Но укладываясь, второпях я ее отложил куда-то и позабыл о ней. Посмотри, пожалуйста, не отыщется ли она между теми книгами, что остались в лаборато-

<sup>14</sup> Например, во главе офицерского союза Сераковского стояли: К. Калиновский, Ярослав Домбровский, братья Николай и Петр Хайновские и др., которые руководили «десятками» и «тридесятками» (см. книгу А. Ф. Смирнова «Революционные связи народов России и Польши», М. 1962, стр. 158 — 159).

<sup>15</sup> «Каторга и ссылка», 1927, № 4 (33), стр. 34.

рии. Если она там, то сделай одолжение, передай ее сам или через Циборского или другого верного человека, — в дом (кажется) Корзинкина, на углу Вознесенского проспекта и Адмиралтейской площади, вход парадный с проспекта (на левой стороне), в самый верх, — на левой руке, без надписи (а на правой надпись — Браун). Тут живут студенты восточного факультета, кавказские. Спроси Кипиани (разрядка наша. — Г. М.). Если его нет дома, оставь книгу и попроси передать. В случае же, если, паче чаяния, ее в книгах моих не окажется, то поспрошай о ней, пожалуйста, у Шемановского... у Александровича, Буренина, Львова и др. ... Похлопочи, сделай одолжение. Я в таком глупом положении остался перед этим господином Кипиани... Ты можешь быть моим освободителем».

О чем говорят эти строки? О том, что встречи Добролюбова с Кипиани в январе 1857 года не были случайными и в дальнейшем не носили эпизодического характера; их взаимоотношения были обусловлены идейной близостью.

Добролюбов в своем письме удивительно точно и детально указывает адрес Кипиани. С такими подробностями место жительства товарища человек запоминает лишь при частом посещении его квартиры. Отсюда ясно, что Добролюбов после первой встречи с Кипиани настолько подружился с ним, что в течение 6 месяцев (с января до июля 1857 года) был частым гостем своего кавказского друга, у которого он не мог не встретиться и не познакомиться с П. Накашидзе, И. Туманишвили, М. Гамазашвили и другими уроженцами Грузии.

Конечно, за это время Кипиани, по своим делам или по приглашению Добролюбова, должен был хоть раз погостить у него. Ведь слушатель Николаевской академии Генерального штаба Н. Д. Новицкий, который, «вероятно, не был революционно настроен»<sup>16</sup>, не был членом кружка Чернышевского и Добролюбова, впервые побывал у гениального критика по его приглашению. «Что вы никогда не заглянете ко мне? — сказал мне раз Добролюбов, — пишет Новицкий, — месяца этак через три после нашего знакомства (1859 год. — Г. М.), прощаясь со мной на углу Невской и Владимирской, докуда мы дошли с ним, возвращаясь по домам после одного из вечеров у Чернышевского. — Будь я

свободнее, я и сам давно зашел бы к вам. Не визитами же, в самом деле, считаться нам!»<sup>17</sup>.

Естественно, что раз Добролюбов стал «Полярную Звезду» и запрещенную фотографию Герцена с помощью «восточных студентов», раз он часто бывал у Д. К. Кипиани и брал у него «Донесения следственной комиссии», то на такое предложение имел большее право Кипиани, чем Новицкий. Значит, вполне допустимо, что и Кипиани бывал у Добролюбова.

Известно, что Н. А. Добролюбов «нелегко и не вдруг сближался... с людьми»<sup>18</sup>, выбирал друзей очень осторожно и брал нужные ему книги, особенно запрещенную литературу, только у близких людей. В данном случае он одалживает у Кипиани книгу М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» для рецензирования. Безусловно, что сотрудник «Современника» — Добролюбов, которого так тщательно оберегал от неприятностей Н. Г. Чернышевский (печатал его статьи под псевдонимом), мог взять эту книгу для рецензирования только у друга, у своего единомышленника. Таким единомышленником и был Д. Кипиани.

Добролюбов, как и все его соратники, всячески старался скрыть от посторонних лиц свои революционные связи, застраховать своих союзников от возможного провала. Наверно, поэтому и просил он Златовратского передать упомянутую книгу Корфа Д. Кипиани не с помощью случайного, а «верного (надежного, испытанного). — Г. М.) человека».

Из этого письма видно и то, что Добролюбов ценил дружбу с Кипиани, заболтался о том, чтобы не уронить свой авторитет в его глазах. Об этом свидетельствуют слова: «Я в таком глупом положении оказался перед этим господином Кипиани ... Ты можешь быть моим освободителем...» и последующая его переписка с Златовратским. Например, в письме от 27 июня читаем: «Поговори, пожалуйста, с Шемановским о книгах, которые мне нужно прислать, — т. е. Некрасова, «Губернские очерки» и портрет (Герцена. — Г. М.), о котором я писал. **Прежних моих просьб не повторяю, надеюсь, что они исполнены**»<sup>19</sup> (выделено нами. — Г. М.).

Получив ответное письмо Златовратского и убедившись, что просьба его — вернуть книгу Д. Кипиани — выполнена, Добролюбов 9 июля 1857 года пишет ему: «Благодарю тебя, мой добрый

<sup>16</sup> См. статью В. Э. Богграда «Воспоминания Н. Д. Новицкого о Чернышевском и Добролюбове». «Литературное наследство», т. 67, стр. 89.

<sup>17</sup> Там же, стр. 113.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> См. Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, Москва, 1890, стр. 378.

Александр Петрович, за твое обязательное письмо и за исполнение моих поручений»<sup>20</sup>. Как видим, Добролюбов в течение 16 дней никак не мог отделаться от мысли, что из-за своей забывчивости он может подвести человека, и успокаивается лишь после утвердительного ответа Златовратского.

Эти строки говорят не только о безукоризненной честности Добролюбова, но и о том, что он относился к Кипиани как к человеку, с мнением которого он считался. При этом следует отметить, что, когда Добролюбов называет Кипиани «господином», это слово не должно смущать нас, так как он употребляет его в своих письмах всегда в адрес близких друзей и всегда с юмористическим накатом. Так, в письме к Златовратскому от 27 июня читаем: «Кучу листов «Современника» и «Вестника» ты возврати от **Чистякова и предложи на выдел господ Александровичу, Львову, Буренну и Сциборскому** (выделено нами. — Г. М.)»<sup>21</sup>.

Кроме того, Н. А. Добролюбов в своем письме расшифровывает слова из дневниковой записи — «восточные студенты», как «студенты восточного факультета».

Надо отметить, что представители передовой грузинской молодежи в основном учились на юридическом, историко-филологическом и физико-математическом факультетах. Если взять список студентов-грузин, окончивших полный курс Петербургского университета с 1827 по 1863 год включительно, то станет ясным, что за 36 лет факультет восточных языков окончил 10 человек, а за интересующий нас промежуток времени — лишь Петрэ Накашидзе.

Добролюбов, неоднократно встречавшийся с Кипиани, конечно, знал, что он и большинство его соотечественников на этом факультете не учились. Тогда почему же он называет их студентами восточного факультета? Не потому ли, что их группа или кружок был известен в радикальных кругах тогдашней молодежи как союз «восточных студентов?».

Не потому ли Добролюбов в письме к Златовратскому счел необходимым разъяснить, что под выражением «студенты восточного факультета» он имеет в виду кавказцев, то есть интернациональный кружок, в котором вместе с армянами, лезгинами, осетинами и русскими были объединены и грузинские юноши? По нашему мнению, это именно так. Своей конкретизацией Добролюбов как бы подчеркивает, что в этом кружке большинство составляли уроженцы Кавказа — Грузия.

Дневниковая запись Добролюбова и его письмо к Златовратскому являются абзацем первой и недоговоренной страницы из истории взаимоотношения гениального критика с грузинскими «шестидесятниками». Эти два документа позволяют нам высказать лишь некоторые предположения о взаимоотношениях Добролюбова и Кипиани, о существовании кружка «восточных студентов» и расширить круг грузинских знакомых Добролюбова. Но они не дают возможности судить о деятельности членов этого кружка и их революционных связях. Такая возможность появляется только после приезда в Петербург второго и наиболее многочисленного потока передовой грузинской молодежи, когда на базе первого «землячества» образуется кружок, возглавляемый И. Чавчавадзе.

Существующие в грузинской литературе воспоминания (К. Абхази, Я. Исарлишвили и Н. Николадзе) и художественные произведения автобиографического характера («Пережитое» А. Церетели, «Киколики, Чиколики и Кудабзика» Г. Церетели), наряду с воспоминанием Л. Ф. Пантелеева, перлюстрированными письмами и донесениями агентов III отделения, позволяют исследователям восстановить основные моменты из студенческой жизни грузинских «шестидесятников», определить круг их интересов. И, что самое главное, установить, чем они занимались на протяжении своего пребывания в стенах Петербургского университета, с кем встречались, какой характер носили эти встречи и какую роль сыграли они в демократическом движении студенчества 1859—1861 годов.

<sup>20</sup> Там же, стр. 385.

<sup>21</sup> Там же, стр. 377—378.

## БРАТСКИЕ УЗЫ ДРУЖБЫ

(Армения в древнегрузинской литературе)

Вне поля зрения древнегрузинских писателей, с достаточной полнотой изображавших исторический путь грузинского народа, не осталась и жизнь соседних народов. Так в древнегрузинской литературе сохранилось много интересных сведений о братской Армении. Правда, мы не располагаем сколько-нибудь значительным литературным произведением, которое бы посвящалось ей специально, но в дошедших до нас трудах часто упоминаются отдельные эпизоды из истории Армении.

Сведения, имеющиеся в древнегрузинской литературе об Армении и армянском народе в большинстве случаев связаны с историко-политической конъюнктурой, с дружбой армянского и грузинского народов, с их совместной борьбой против общего врага. И почти совсем нет подробных данных о жизни народа древней Армении, о его социальных отношениях, о нравах и обычаях. Но это обстоятельство, разумеется, не умаляет значения дошедших до нас фактов.

Интересные сообщения об Армении содержатся уже в таких древнейших грузинских источниках, как «Мученичество Шушаники» Якова Цуртавели (V век), «О церковном разрыве между Грузией и Арменией» Арсения Сафарели (IX век), «Обращение к Грузии» (IX век) и «Житие Давида Гареджели» (X век) и другие произведения неизвестных авторов. Особый интерес представляет «Повесть о первых отцах и царях» историка XI века Леонтия Мровели, являющаяся вводной частью «Летописи Грузии» («Картлис цховреба») и знакомящая нас с древнейшей историей грузинского народа.

Интересна концепция Леонтия Мровели, в которой на основании библейских сказаний дана генеалогия грузинского народа. Как известно, в христианской Византии и культурно с нею связанных странах с самого начала сложилось убеждение, что после «всемирного потопа» человеческий род размножился от троих сыновей библейского Ноя: Сима, Хама и Яфета; каждому из этих братьев досталась определенная часть земли, которая заселилась происшедшим от него потомством. Поэтому в средневеко-

вой Византии появляются писатели, которые занимаются генеалогией известных в то время народов и выявлением того, кто от кого берет начало, где обитал и на каком языке говорил. На этой почве возникли своего рода генеалогические справочники, которые переводились с греческого языка и комментировались другими народами.

Интерес к подобной генеалогии пробудился в Грузии уже в X веке (Евфимий Атонели, Святогорец), но труд Леонтия Мровели представляет особый интерес, так как в нем найдено соответствующее отражение конкретное историко-политическое положение Закавказья.

На рубеже X—XI веков начинается усиление Грузии, закладываются основы грузинской централизованной монархии. Усиление национального самосознания определило выдвижение на первый план проблемы этногенезиса Грузии; возрос интерес и к истории соседних народов. Разработку этих вопросов взял на себя Леонтий Мровели (вопросы этногенезиса кавказских народов интересовали и других писателей, но это не было предметом их специального исследования, как у Леонтия Мровели). По его концепции, кавказские народы являются родственными народами, у них общий предок — Таргамос.

Леонтий Мровели рассказывает: «У армян и грузин, аранцев и моваканцев, геров и лезгин, кавкасян и мегрелов, у всех у них был один отец, по имени Таргамос». У него было восемь сыновей, из коих, «имя первого Аос, второго Картлос, третьего Бардос, четвертого Мовакан, пятого Лек, шестого Егрос, седьмого Кавказ, восьмого Егрос».

Теория Леонтия Мровели о родственном происхождении кавказских народов, безусловно, сказочна и фантастична; генеалогическая схема взята им из Библии и лишена научного фундамента; но все же сама по себе теория эта имеет определенное значение. Примечательно, что историю грузинского народа Леонтий Мровели начинает с утверждения родства и дружбы народов. По его мнению, дружба армянского, грузинского, аранского и моваканского, то есть азербайджанского народов имеет многовековую историю. Согласно концепции Мровели, кавказские народы родственны, их

характеризует общность исторической жизни. Но эта концепция требует более убедительной аргументации, ибо армяно-азербайджано-грузинское политическое, культурное и экономическое сотрудничество, добрососедские отношения и военное содружество еще не означают родства народов.

Хотя Леонтий Мровели путает племена и народы, его сведения о дифференциации кавказских народов все привлекают внимание, так как утверждение о происхождении вышеупомянутых племен и народов продиктовано интересами политической дружбы. Концепция Леонтия Мровели позволяет судить об отношении грузинского общества XI века к дружбе народов Кавказа.

Естественно, возникает вопрос: откуда Леонтий Мровели взял свою генеалогическую схему? Специально изучавший этот вопрос академик АН Грузинской ССР К. С. Кекелидзе пришел к выводу, что эта концепция очень близка схеме «Хроник» Ипполита Римского (III век) и его армянской редакции. В указанной «Хронике» в числе жителей Закавказья названы те же народы, что и в трудах Леонтия Мровели, но приведены они в другом порядке и иначе названы. По «Хронике» Ипполита Римского, эти народы произошли от общего предка — Яфета. Детьми Таргамоса признаны только армяне. Такая концепция, как видно, не удовлетворяла грузинского историка, считавшего, что кавказские народы происходили не только от одного предка, но и от одного отца — Таргамоса. Эти сведения он не мог почерпнуть ни из одного источника; ничего похожего нельзя найти ни в одном памятнике древности. Концепция Леонтия Мровели — безусловно, его оригинальное заключение. Возникновение такой теории можно объяснить условиями исторической действительности того времени. Видимо, в результате некоторого схождения экономической, политической и культурной жизни народов Закавказья в передовых кругах грузинского общества возникла идея дружбы и родства народов, населяющих Кавказ. В дальнейшем эта идея в историческом развитии кавказских народов сыграла важную роль.

Известно, что армянскому, азербайджанскому и грузинскому народам на протяжении веков приходилось вести совместную борьбу против нашествий иноземцев (римлян, персов и др.). Совместные действия братских народов Закавказья были обусловлены общностью их интересов и имели целью сохранение государственной независимости. В ходе этой многовековой борьбы закавказскими народами вписаны замечательные страницы в их историю. Примечательно, что Леонтий Мровели не только отмечает родство кавказских народов, но и

повествует об их совместной борьбе. Он хорошо знает, что жителей Кавказа, в частности Закавказья, связывают многовековые дружеские взаимоотношения, что они не раз вместе выступали против врагов.

Интересны сведения Леонтия Мровели об отпоре, данном легендарному царю Нимроду объединенными силами кавказцев (потомками Таргамоса).

Грузинский летописец с восхищением описывает эту битву: «Когда прибыли войска Нимрода, их встретили семь богатейрей, братья Аоса, с крепкой ратью. И произошла между ними ужасная схватка, похожая на напор воздуха. Пыль от их ног напоминала густые облака, сияние их доспехов — сияние неба, голос их — голос грома, множество копий и метание стрел — частый град, проливавшаяся их кровь — дождь».

Заслуживают быть отмеченными те места в сочинении Леонтия Мровели, где речь идет об усилении персов в Закавказье и о самоотверженной борьбе его коренного населения. В повествовании отражена борьба закавказских народов против ахеменидов (IV — V вв.). Особое внимание Леонтий Мровели уделяет народам Восточного Закавказья, среди которых в первую очередь называет армян, грузин, аранцев, моваканцев.

По его словам, персидский шах послал своего сына с многочисленным войском против «армян, грузин и прочих таргамосян». Потомки Таргамоса сплотились, объединенными силами стойко встретили врага, обратили его в бегство. Впоследствии персы нагрянули с усиленным войском: армяне и грузины не смогли оказать должного сопротивления и потерпели поражение. Леонтий Мровели с сожалением говорит о вторжении персов в Армению и Грузию, о захвате их крепостей, покорении населения.

По сведениям летописцев, персидское иго продолжалось недолго. Спустя несколько лет армяне и грузины воспользовались благоприятной ситуацией и освободились от него.

Есть у Леонтия Мровели и данные об истории армянской христианской церкви. Судя по ним, между христианами — армянами и грузинами — издавна существовали прочные взаимоотношения.

Интересные сведения об Армении сообщает и другой историк XI века — Джуаншер. В своей «Истории Вахтанга Горгасала» он описывает жизнь грузинского народа не изолированно, а в связи с жизнью соседних стран. Мимо его внимания не прошли главные этапы их исторического существования. Джуаншер описал покорение персами Армении, Азербайджана и Грузии.

Как известно, армяне вместе с азербайджанцами и грузинами не раз высту-

пали против общего врага. Для подавления их сопротивления персы посылали в восточное Закавказье карательные отряды и беспощадно расправлялись с местным населением.

В книге Джуаншера приведены некоторые сведения, касающиеся упомянутого выше вопроса. С болью вспоминает он о нашествии персов и с восхищением говорит о победоносном походе грузинского царя Митридата (V век) против них. Джуаншер описывает также опустошительный поход арабов. По его словам, в результате нашествия Мервана ибн-Мухаммеда (736—738 гг.) в Армении, Азербайджане и Грузии не осталось камня на камне. С одинаковой горечью пишет историк о завоевании Армении, Азербайджана и Грузии персами и арабами.

Еще более интересные сведения об Армении находим мы у неизвестного автора «Летописи Картли» (XI в.), с сожалением отмечающего, что сарацины завоевали Армению, Азербайджан и Грузию. Он не раз упоминает о дружбе, совместной борьбе и взаимопомощи народов этих стран. Судя по его сообщениям, они не склонялись перед арабскими завоевателями, не мирились с их ярмом и в подходящий момент брались за оружие. Часто они поднимались против врага одновременно. Это, в свою очередь, способствовало сплочению народов. Центральная арабская власть посылала карательные экспедиции. Одной из таких экспедиций руководил Буга, который, по сведениям того же летописца, в 853 году «покорил всю Армению и взял в плен главарей».

Такое же опустошительное нашествие имело место в 914 году, когда полчища арабов под руководством Абул-Касима вторглись в Армению и Грузию. Грузинский летописец подробно описывает вторжение арабов в Армению, истребление местного населения, сопротивление армянского царя Сумбата и так далее. Из его повествования видно, что царь Сумбат вошел в одну из крепостей и укрепился в ней. Арабы не смогли взять крепость и, желая сломить сопротивление защитников, захватили их жен и детей. Этот вероломный поступок принес свои плоды: крепость пала, Сумбата взяли в плен и повесили в г. Двине (аналогичные сведения имеются у грузинского агнографа Стефана Мтбевари, написавшего в 914—918 гг. «Мученичество Гоброна»).

Интересно сообщение Джуаншера о факте, происшедшем в годы царствования Баграта Четвертого (1027—1072): в 1045 году, согласно желанию и просьбе армянского населения, к Грузии присоединилась столица Армении — Ани вместе с девятью крепостями.

Из слов Джуаншера видно, что еще с первой половины XI века начинается

процесс постепенного вхождения армии в объединенную семью грузинского царства, завершающийся в XII столетии окончательным слиянием с ними.

По сведениям летописца Давида Четвертого, после того как территория грузинского царства была очищена от турок-сельджуков, Давид начал борьбу за освобождение соседних народов. В 1118 году он взял сильную крепость Лоре, а спустя некоторое время (1123) и такие армянские крепости, как Териакал, Норбед, Талинджакар и другие (аналогичные данные есть и у армянских историков Вардана и Стефаноза Орбелиани). Настало время взять столицу Армении — Ани, которая в это время находилась в руках магометан. По сведениям грузинского летописца, население г. Ани, возмущенное самоуправством магометан и обрадованное знаменательными военными успехами Давида Строителя, обратилось за помощью к грузинскому царю. Давид незамедлительно собрал кавалерию и за три дня освободил Ани.

Взятие Ани — национально-культурного центра Армении, одного из важнейших торговых городов на Ближнем Востоке, значительного военно-стратегического пункта — имело большое значение. И народ торжественно отметил это событие. По сообщениям грузинских и армянских историков, царь Давид надлежащим образом отпраздновал эту победу. Кстати, как указано в одной старой грузинской хронике, Давид отправился к могиле строительницы церкви в Ани (царице Катроните) и трижды воскликнул: «Радуйся, царица, так как всевышний освободил церковь твою от неверных».

Из литературы последующих времен с точки зрения интересующей нас темы заслуживает внимания «История и восхваление венценосцев» (XIII в.). Автор названного произведения уделяет большое внимание вопросу грузино-армянских взаимоотношений. Он подробно описывает постепенное освобождение армянской территории от магометанских захватчиков, особо подчеркивая роль грузинского народа в этом деле. Заслуживают внимания его сведения о взятии грузинским войском «великого и прославленного города» — Двина. Особенно интересно его повествование о взятии Ани.

Как известно, сын Давида Строителя — Дмитрий Первый (1125—1156) передал г. Ани покорному ему магометанскому правителю. Такой поступок царя не понравился деятелям более позднего времени, поэтому им пришлось заново думать об освобождении Ани.

Как сообщает грузинский летописец, Георгий Третий (1156—1184) освободил г. Ани летом 1161 года и присоединил его к Грузии. Это произвело боль-

шное впечатление на магометанских правителей. Неприятельские войска подошли к г. Ани и попытались взять его, но грузинские и армянские воины, одержав блестящую победу, с позором изгнали врага (аналогичные сведения имеются и у армянских историков — Вардана, С. Орбелиани и др.).

Невозможно без волнения читать описание захвата г. Ани (Аниса) султаном Ардебильским в 1208 году, расправы над местным населением, вызвавшей месть разгневанных этим грузин. В названной книге читаем: «Ардебильский султан призвал свои войска и направил их на разорение города Ани, ибо знал, что Мхаргрдзели (правители города. — Л. М.) отсутствовали. Выступив, он направился по берегу Аракса и, не нанеся дорогой никому вреда, в великую субботу под вечер незаметно подошел к городу. На рассвете, когда стали звонить к заутрене и открыли городские ворота, они сразу бросились к ним и, так как не успели закрыть их, ворвались в город на конях и начали умерщвлять, избивать, забирать в плен. Большинство горожан, сообразно с христианской верой, находилось в церквях; некоторые бежали и укрепились в домах своих, другие — в пещерах. Таким образом, захватили город, причем 12.000 человек зарезали, как овец, в церквях, и сверх того, что было избито на улицах и площадях города. После разорения города они, обремененные добычей и пленными, вернулись назад. О разграблении г. Ани царица (Тамар) и братья Мхаргрдзели узнали в Гегути. Выслушав неприятную весть, они очень огорчились и опечалились, сердца их пылали огнем. Царица и ее войска, одержимые горем и гневом, стали готовиться к войне с персами...

Приближался мерзкий пост магометанской веры...

[Грузинские войска] направились к Ардебилу. Ночью, накануне «Анди», то есть Пасхи их, окружили Ардебиль. Когда раздался голос вестника их мерзкой веры и участились призывы муэдзинов, братья Мхаргрдзели со всех сторон пустили коней, ворвались в город и без боя овладели им.

Султана ардебильского убили, жену и детей забрали в плен. 12.000 знатных людей перебили в мечетях, подобно тому, как те поступили в церквях Ани, других во множестве истребили или стеснили».

Блестящая победа грузинского оружия восхитила не только автора «Истории и восхваления венценосцев», но и других писателей, в частности второго историка Тамар — Василия, который с гордостью упоминает этот факт.

Радость и восхищение, вызванные победой грузин над врагами Грузии и Ар-

мени, проявляются и в грузинской поэзии XIII века. В частности, выдающийся грузинский мастер художественного слова Чакрухадзе в своем «Тамариани» специально упоминает этот факт. Он не скрывает радости по поводу победы отечественников, с гордостью пишет о поражении и посрамлении врага.

Интересные сведения об Армении встречаются и в произведениях грузинских писателей последующей поры — в сочинениях летописца времен Георгия Лаша (XIII в., «История Дмитрия, Георгия, Тамар и Лаша Георгия»), в «Фамильной летописи» (1233) Тбели Абусеридзе, в «Распорядке царского двора» неизвестного автора (XIV в.) и других.

Особенно примечательны сведения неизвестного грузинского летописца XIV века. В его произведении получила отражение борьба армян, азербайджанцев и грузин против хорезмийцев и монголов. Он специально останавливается на преследованиях полководцами Чингис-хана (1206—1227) Джебесом и Субутаем хорезмшаха Мухаммеда (1220) и тем самым на их приходе в Закавказье. После описания первого похода монголов в Закавказье автор говорит о вторжении хорезмийцев в Армению и Грузию (1225). Подробно описаны им и другие походы монголов.

От внимания историка не ускользнул тот факт, что, несмотря на завоевание монголами Армении, Азербайджана и Грузии, местное население не прекратило освободительных действий против завоевателей, не отказалось от борьбы.

Автор этого произведения сообщает много сведений об Армении (например, интересны его сведения о городах Ани, Двин и др.), но его рассказ в основном касается совместных военных действий армян и грузин. В этом плане стоит назвать также сочинение XV века «Мемориум эриставов» — «Дзегли эриставта» (фамильная летопись ксанских эриставов), из которого мы узнаем о совместном походе и взятии укрепленной крепости Алинджи.

В грузинской исторической литературе часто встречаются сведения о нашествиях Тимурленга на Армению, Азербайджан и Грузию. Эти данные сохранились в сочинениях Фарсадана Горгиджанидзе (XVII в.) «История Грузии», Веры Эпнаташвили (XVIII в.) «Новая история Грузии» и других авторов. В этих произведениях говорится также о борьбе армянского народа против турецких и персидских завоевателей. Некоторые же сведения сохранились в «Хронике Месхийской псалтыри» (XVI в.).

Тут же отметим, что историку Фарсадану Горгиджанидзе принадлежит так называемая вторая грузинская версия «Хосровириани», представляющая



собой самостоятельную свободную разработку популярного персидского сюжета о любви Хосрова Парвиза и прекрасной армянской царевны Ширин. По мнению академика АН Грузинской ССР А. Г. Барамидзе, литературными источниками Ф. Горгиджанидзе являлись поэмы Фирдоуси и Низами Гянджеви.

Сведения об Армении содержатся и в грузинской художественной литературе XVIII века (Сулхан Саба Орбелиани, Вахтанг VI и др.), в частности в «Путешествии в Европу» Сулхана Саба Орбелиани (1658—1725) и в другой его книге «Мудрость вымысла».

Сообщения об армяно - грузинских отношениях встречаются у грузинских историков XVIII века (Сехния Чхеидзе, Вахушти Багратиони, Папуна Орбелиани и Омар Херхеулидзе), мемуаристов и путешественников (Тимофей Габашвили, Ясе Бараташвили, Иона Гедеванишвили, Рафаил Данибегашвили, Георгий Авалишвили и др.).

Разносторонние сведения об Армении находим мы также у грузинских писателей начала XIX века, у представителей грузинской литературы так называемой «переходной эпохи» — Давида (1767—1819), Иоанна (1768—1830), Баграта (1776—1841) и Теймураза (1782—1846) Багратиони.

Давид и Баграт Багратиони в своих книгах («Новая история», «Новое повествование») подробно рассматривают взаимоотношения грузинского и армянского народов. Иоанн Багратиони в своем известном произведении «Калмасоба, или хождение по сбору» описывает посещение рудников в Ахтале и Мисхане грузинским подвижником И. Хелашвили; любопытны его сведения о древнеармянских культурно - просветительных очагах (Санани, Ахпат). Рассказ И. Багратиони проливает свет на некоторые факты из жизни известного ашуга и поэта Саят-Нова. Теймураз Багратиони повторяет сведения, данные Леон-

тием Мровели о дружбе кавказских народов, приводит некоторые сведения о древней Армении и так далее.

В Грузии проявляли интерес не только к истории Армении, но и к ее географии. В этом отношении некоторые материалы имеются уже у Вахушти Багратиони (XVIII в.) в его известном произведении «Описание грузинского царства». В памятнике второй половины XVIII века «Описание сопредельных с Грузией стран» приведены данные о Карсе, Баязете, Ереване и так далее. Так в «Описании» сказано: «Ереван — это край, где первоначально находился престол армянского государя. Здесь же находится престол армянского католикоса. Край изобилует как горами, так и равниной, плодороден и богат урожаем».

Упоминание, например, об Ахпате, Санане и так далее имеет место также в произведении неизвестного автора первой половины XIX века — «Описание древностей Тбилиси и Сомхити» (1837).

Итак, мы смогли убедиться, что представители древнегрузинской литературы постоянно проявляли живой интерес к Армении. Братская соседняя страна всегда привлекала внимание грузинских писателей; они интересовались ее судьбой, разделяли ее горе, радовались ее победам и успехам.

С другой стороны, если вспомнить армянских писателей, которые также знали Грузию и писали о ней (Моисей Хоренский, Моисей Каланкатуйский, Ухтанес Урхайский, Иоан Драсханакертский, Мхитар Гош, Стефан Орбелян, Фома Мецобский, Нагаш Ионатан и др.), замечательного ашуга Саят-Нова, славящего песни на армянском, грузинском и азербайджанском языках, станут очевидными интенсивные культурно-литературные взаимоотношения между армянскими и грузинскими народами, обоюдный интерес к их прошлому, настоящему и будущему.



## ЛИСТАЯ ЗНАКОМЫЕ СТРАНИЦЫ

Недавно меня вновь потянуло к небольшому томику воспоминаний Я. Николадзе о Родене. Перелистывал знакомые страницы, и во мне оживали те далекие дни, когда я, проживая в течение многих месяцев в Париже, пытался пройти по следам нашего знаменитого скульптора... Мне вспомнился мгlistый серый день уходящей осени, когда я шел сквозь унылый строй мокрых, зябко жавшихся друг к другу домов узкой улицы д'Асса, предвкушая свою первую встречу с Роденом и упоая на то, что годы не стерли следы пребывания молодого Якова Николадзе у великого французского ваятеля. И вот мы с товарищами уже бродим по залам отеля Бирона—музея Родена, покоренные властной силой его обжигающего таланта. Неожиданно к нам подошел человек в форме швейцара. Весь он был какой-то бесцветный, поникший, запущенный, как музейный экспонат, который не заслуживает того, чтобы с него регулярно смахивали пыль. Лицо его имело странный, поблекший от времени розовый оттенок, а приглядевшись к глазам, можно было предположить, что когда-то они были голубыми. Он стал рассказывать нам о произведениях Родена. Голос у него был невыразительный, тихий, но рассказывал он, несомненно, со знанием дела. В одном из залов были представлены рисунки и эскизы Родена, и я спросил нашего добровольного гида, почему они так отсырели. Тот помедлил с ответом, затем лицо его странно задвигалось, и я не сразу понял, что это должно означать улыбку.

— Какой вы национальности? — спросил он.

— Грузин, — ответил я, несколько озадаченный его вопросом.

— О, теперь понятно, — сказал он. — У вас, у грузин, глаз зорок, как у горных орлов. И вообще, — добавил он неожиданно, — грузины — гордый народ!

Мне показалось, что он расположен ко мне, и, когда пришло время расставаться, я спросил у него:

— Знаете ли вы, что у Родена работал грузинский скульптор?

— Да, это Николадзе, — последовал ответ.

— Не остались ли в музее или архиве Родена какие-либо следы пребывания Николадзе?

— К сожалению, я ничего не знаю... Впрочем, — добавил он, подумав, — зайдите ко мне как-нибудь в свободное время, возможно, я сумею быть вам полезным.

Прощаясь, я поинтересовался, не получал ли мой новый знакомый образование в области искусства.

— Я художник, — глухо сказал он, глядя в сторону, и добавил, — вернее был им когда-то...

Я смотрел на него, ожидая продолжения разговора, но мой собеседник постоял секунду молча и побрел от меня прочь...

Позже я узнал, что наш оригинальный гид окончил где-то за границей художественную академию, но вынужден работать в качестве простого служителя — специальность не давала ему средств к существованию.

Прошло некоторое время, и я снова в музее Родена. Увидя меня, мой знакомый опять как-то странно задвигал лицом, и я вспомнил, что это означает улыбку.

— Я должен вас огорчить, — заявил он, — мне ничего не удалось узнать. Но я вам дам совет — напишите письмо хранительнице музея госпоже Гольдшейдер. Весь музей и архив Родена в ее руках, и только она сможет дать вам точный ответ. Но имейте в виду, — тут он перешел на шепот, — характер у нее скверный, с ней трудно иметь дело, да и иностранцев она не очень жалует. Составьте письмо как можно более любезное, подбросьте пару комплиментов, и тогда, быть может, она вас примет.

Мне ничего не оставалось, как последовать этому совету. Я написал госпоже Гольдшейдер, что слышал о ней как о большом знатке искусства Родена и что мне, представителю Грузии, очень хотелось бы познакомиться с теми материалами (документами, рисунками и т. д.) грузинского скульптора Якова Николадзе, которыми, возможно, располагает музей Родена. В заключение я просил ее принять в качестве сувенира небольшую книжечку иллюстраций грузинского художника Т. Кубанейшвили к произведениям Важа Пшавела.

Через несколько дней я получил лаконичный ответ: «Назначаю Вам свидание на среду 16 марта в 3 часа дня».

И вот в назначенное время после полу- часового ожидания я вхожу в кабинет госпожи Гольдшейдер. Навстречу подня- лась пожилая седая дама с артистиче- ской внешностью. Социрувшись чуть дол- ше, чем это позволял этикет, мадам Гольд- шейдер прошла по мне привыкшим оце- нивать вещи взглядом, а затем, словно спохватившись, умело и не без удоволь- ствия продемонстрировала мне, как и на- сколько в таких ситуациях следует быть приветливой и любезной, причем точно в той дозе, какая необходима, чтобы у со- беседника — боже упаси! — не возникли подозрения в измене традиционной фран- цузской вежливости. Госпожа Гольдшей- дер протянула мне небольшую папку и сказала:

—ознакомьтесь, пожалуйста.

В папке лежали пожелтевшие листы бу- маги с аккуратными четкими строками французского текста. Это были два пись- ма Я. Николадзе к Родену и четыре его расписки в получении гонорара.

— Это все, что у нас сохранилось, — заметила госпожа Гольдшейдер.

Я спросил, каким образом можно полу- чить фотокопии этих документов.

— О, это не трудно, — сказала она, — я вам их приготовлю. Однако, — добавила она с улыбкой, — я не так бескорыстна, как вы думаете. Я хотела бы, чтобы вы подробнее рассказали мне все, что вам известно о работе Николадзе у Родена.

— Знаете ли вы, — спросил я в ответ, — что у Николадзе есть небольшая книга «Год у Родена»?

— Это чрезвычайно интересно! Мы ни- чего о ней не знаем. Не могли бы вы по- знакомить нас с ней?

Я обещал выписать для нее эту книгу из Тбилиси и презентовать ей в следую- щий свой визит. Мы договорились встре- титься через месяц с лишним — 27 ап- реля.

В условленный день я отправился на свое второе свидание с госпожой Гольд- шейдер. На этот раз она держалась про- ще и более радушно и сразу же вручила мне обещанные фотокопии. В свою оче- редь, я преподнес ей книгу Я. Николадзе «Год у Родена». Госпожа Гольдшейдер, по-видимому, была искренне рада подарку и сказала:

— Книга Николадзе отныне займет свое место в архиве музея Родена. Я постараюсь организовать ее перевод и изда- ние на французском языке. Нам чрезвы- чайно важно и интересно познакомиться с этими, еще неизвестными нам, воспомина- ниями о Родене.

Уходя, я заглянул к моему приятелю- гиду, рассказал ему об исходе дела и по- благодарил его за участие. Он посмотрел на меня своим потухшим взором и одно- сложной произнес: «Не за что». Мы попрощались, я вышел во двор, но что-то за- ставило меня оглянуться. На крыльце особ- няка Бирона стоял мой знакомец—человек,

который когда-то был художником, когда- то умел смеяться и плакать, надеяться и верить в будущее и чьи глаза, вероятно, могли выражать когда-то не знавшие до- кой чувства... Он стоял неподвижно и смотрел куда-то в пространство. Я про- следил за его взглядом и невольно пред- ставил себе фигуру Мыслителя. Какие мысли, какие чувства рождала у неудав- шегося художника эта трагическая фигура, ушедшего в себя человека, воскрешала ли она в его душе собственные мечты и взле- ты или, быть может, Мыслитель служил вечным укором его падению, его покор- ности ударам судьбы? Я снова шел той же улицей д'Асса, но теперь Париж ре- шительно сбрасывал с себя томительные зимние наряды, город помолодел, всколых- нулся, ожил, пестрые столики бесчислен- ных быстро вновь оккупировали троту- ары, в воздухе струился аромат каштанов, а передо мной все еще маячила одинокая и скорбная фигура судьбой развенчанного художника, и я почти не замечал ликую- щего шествия весны...

Однако, что же писал Я. Николадзе Родену?

Раскроем снова книжку Я. Николадзе. В ней автор, в частности, рассказывает, что над первой своей работой у Родена — «Головой Иоанна Крестителя» — он тру- дился сорок дней, после чего послал Ро- дену открытку:

«1 января 1907,

9, улица Фальгиер.

Дорогой учитель,

Работа, которую Вы мне поручили, уже закончена. Однако до того, как переправ- ить ее к Вам домой в Медон, я был бы счастлив подвергнуть работу Вашей благо- склонной оценке для того, чтобы переде- лать то, что Вы найдете неправильно вы- полненным. Я бы просил Вас назначить день и час, чтобы быть в Вашем распоря- жении и ждать Вашего визита у меня в ателье. Примите, дорогой учитель, выра- жение моих самых почтительных чувств.

Я. Николадзе».

Родену работа понравилась, и он пред- ложил Я. Николадзе представить счет... «Мне было очень трудно говорить с Роден- ном по этому вопросу»,—рассказывает Я. Николадзе. Однако «нужда заставляла ду- мать о завтрашнем дне», и счет на сум- му 600 франков все-таки был отпра- вен. «Я рассчитывал получить от Родена новый заказ. В конце письма, в котором я сообщил Родену о стоимости продelan- ной мной работы, я приписал свой адрес» (стр. 30). Вот что писал Я. Николадзе Родену:

«Париж, 6 января 07

9, ул. Фальгиер.

Дорогой учитель,

Вы любезно предоставили свободу мне самому оценить работу, которую я Вам вче- ра вручил. Если Вы не найдете незакон- ными мои притязания, то я просил бы Вас определить стоимость моей работы в 600

франков и переслать мне эту сумму, когда найдете удобным.

Если я смогу Вас удовлетворить, буду рад, если Вы вспомните мое имя для другой работы, которую нашли бы возможным мне доверить. Примите, дорогой учитель, вместе с моей благодарностью выражение моих почтительных чувств.

Я. Николадзе».

Однако ответа не последовало, и, прождав некоторое время, Я. Николадзе решил сам отправиться в Медон. Родена он не застал (тогда был в Париже), его принял секретарь Родена Анри Шеруи.

«Услышав мою фамилию, — рассказывает Я. Николадзе, — он стал извиняться; он сказал, что чек на мое имя подписан две недели назад и лишь по его вине я не получил до сих пор денег». В тот же день Я. Николадзе получил свой первый гонорар у Родена — это было 13 января 1907 г., как свидетельствует расписка. Почти всю сумму Я. Николадзе раздал кредиторам, оставалось лишь надеяться на новый заказ. Однако шли недели, и надежды не оправдывались. По-видимому,

говорит Я. Николадзе, письмо, в котором он сообщал свой адрес, пошло в архив, и адрес был предан забвению. Как выяснилось, Я. Николадзе не ошибаясь, это письмо, действительно, попало в архив Родена. Несколько позже встреча Я. Николадзе с Роденом все же состоялась, и он выполнил еще два заказа у Родена. Последняя расписка в получении 225 франков датирована 21 декабря 1907 года. Вероятно, этот гонорар Я. Николадзе получил за последнюю свою работу у Родена — бюст писателя Барбе д'Оревилли. Как и другие, эта расписка не принадлежала руке Я. Николадзе (возможно, текст был написан секретарем Родена, сам он лишь ставил подпись и дату).

Листая знакомые страницы, и передо мной проплывают картины прошлого, я вновь пленен страстными и дерзновенными творениями великого француза, ощущаю тишину полюбившихся мне залов музея, вижу мирный тенистый парк и в глубине его потрясающую группу «Уголино», над которой трудилась и талантливая рука нашего соотечественника...

Барвара МЧЕДЛИДЗЕ

## МОИ КУТАИСИ

С этим городом связаны мое детство и зора юности. Здесь я впервые переступила порог школы как учитель. Это были 20-е годы нашего столетия, период больших исторических переломов. Позади революция 1905 года, реакция, мировая война 1914 года, Великая Октябрьская социалистическая революция. Впереди 1921 год, год установления Советской власти в Грузии. Вот краткий и сухой перечень того, что пережил Кутаиси, но за этим сухим перечнем — сложные, глубокие исторические явления, в корне изменившие жизнь города.

Старый Кутаиси! В памяти запечатлелись выложенные из камня и кирпича дома, узкие улочки, тихие кварталы, городской сад вдоль широкой каменной мостовой. Справа от него на противоположной стороне располагались различные торговые дома: кондитерская, книжный магазин, магазин тканей, в центре — церковь, неподалеку — книжная лавка Исидора Квициридзе. В этом непритязательном с виду доме всегда было многолюдно. Не успевал Исидор отсортировать только что полученные периодические издания, как молодежь тут же расхватывала их; читали здесь же, здесь же спорили, дискутировали, делились мыслями.

В этом квартале всегда было оживленно. Кого только здесь не встретишь! И студентов-грузин, прибывших из России на отдых, и гимназисток и гимназистов. Здесь любили отдыхать Галактион Табидзе, Ноэ Чхиквадзе, Варлам Рухадзе, Нико Лордкипанидзе, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Диа Чианелидзе, Валериан Гаприндашвили, Колау Надирадзе. По этой улице, бывало, не торопясь шли «удрученные судьбой отцизвы» Давид Клдиашвили, Кита Абашидзе, Кирилэ Лордкипанидзе. Здесь можно было встретить наших замечательных педагогов Иосифа Оцхели, Силвана Хундадзе, Дмитрия Джанелидзе, Дито Узнадзе, Вукола Беридзе, Ясона Николашвили, активных пропагандистов грузинской музыки Мелитона Баланчивадзе, Котэ Поцхверашвили. На этой самой улице нередко встречали мы известных дирижеров, больших поклонников народной музыки Михаила и Нико Шарабидзе. В Кутаиси провел нелегкие годы своей жизни известный публицист Эстатэ Бослевели (Мчедлидзе). Кутаиси сконцентрировал в себе различные литературное течения, различные политические кружки и организации. Здесь существовал женский кружок, которым руководила просвещеннейшая женщина — Мелания Гвелесиани, жена ме-

цената и общественного деятеля Григола Гвелесиани, и здесь, в Кутаиси, Като Микеладзе даже издавала газету для женщин.

В легальных кружках, которых, кстати, в Кутаиси было немало, рождались свободолюбивые идеи, Кутаиси всегда тотчас откликался на все события, происходившие в стране, активно поддерживал движение рабочего класса. Именно здесь, в Кутаиси, можно сказать, в единственном в то время городе, существовал грузинский народный университет, которым руководили Александр Гарсеванишвили и Елена Хелтуплишвили. Город был своеобразной ареной борьбы всего светлого, прогрессивного с темными силами самодержавия.

Театральный Кутаиси... Здесь работали Нуца Чхеидзе, Валериан Гаприндашвили, Александр Имедашвили, Юза Зардалишвили, Маро Мдивани, Владимир Месхишвили. В Кутаиси начинала свою творческую жизнь Верико Анджапаридзе, здесь прошли молодые годы Михаила Чиаурели, здесь кутаисцы первыми оценили сценический дар Ушанги Чхеидзе, здесь родился как актер Георгий Шавгулидзе. В Кутаиси были осуществлены блестящие постановки Котэ Марджанишвили. Многому учил нас театр. Он группировал вокруг себя не только грузинскую интеллигенцию, но и передовых рабочих. Кутаисский театр!.. Он помог многое. Дни побед и удач, когда в едином порыве вспыхивал весь театр — от партера до галерки. И дни неудач, когда слово не доходило до зрителя, и тогда камертоном спектакля снова бывал зрительный зал — от партера до галерки. Да, это были дни, когда жизнь в Кутаиси бурлила, когда Кутаиси во весь голос заявил о себе как о рачителе и хранителе родного языка.

Но помним мы Кутаиси и другим, помним дни, когда интеллигенция города, лучшие его сыны устремлялись в столицу. С одной стороны, это было так естественно. Ведь река, разлившись в половодье, поит своей живительной влагой все окрест. Столице необходимо было собрать силы, расправить плечи... Этого требовали национальные интересы. Представители всех областей искусства, науки стремились тогда в Тбилиси. Симон Каухчишвили, Георгий Ахвледиани, Шалва Нуцубидзе, Дито Уз-

гадзе, Александр Джанелидзе, Вукол Беридзе, Акакий Пагава... Да разве всех перечеислишь!

Но Имерети немислима без присущего ей оптимизма, без веры в лучшее будущее. Кутаиси теперь уже стоял в преддверии новых свершений как город нового типа. Сегодняшний Кутаиси — это вполне современный индустриальный и промышленный центр.

Новый Кутаиси! Исполнив свой долг перед революцией, он вступил в новую эру как равноправный член большой советской семьи. Общим мощным индустриальным горением живет сегодня мой Кутаиси, город электростанций, заводов и фабрик, некогда овеянный легендой о золотом руне, известный в греческой мифологии как город колхов. Так пусть будет мирным и светлым путь его к новым вершинам! А старый Кутаиси остался жить в крепости Баграти и в Гелати, в Гегути и в этнографическом музее.

Недавно я снова побывала в родном Кутаиси. И конечно, не могла обойти стороной театр. Естественно было желание вдохнуть его воздух, сесть на ту же скамью, в том же ярусе, где, будучи совсем молодой, я испытывала на себе волшебную силу искусства. «Кай Гракх», «Измена», «Родина», «Тайфун», «Ткачи», «Срубленный дуб»... Я отлично помню все эти постановки. Сейчас же я сидела в театре и слушала оперу «Абесалом и Этери» Захария Палиашвили, коренного кутаисца. Необычен был для меня этот вечер. С передаваемым волнением ожидала я поднятия занавеса, ведь сегодня это великое произведение исполняют совсем молодые артисты Кутаисского оперного театра. И мне кажется знаменательным тот факт, что старый Кутаиси, видевший на сцене своего театра стольких замечательных исполнителей, представил сегодня сцену молодым. И в этом сказывается своеобразная преемственность поколений. Мне это показалось символическим.

Кутаиси по-прежнему молод, бурлит театральная жизнь. Центрами эстетического и духовного воспитания молодого поколения являются сегодня драматический театр имени Вл. Месхишвили и оперный театр. Кутаиси по-прежнему бурлит... Мой вечно молодой, неувядающий старый Кутаиси!

## МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛОШИН

Находясь в Коктебеле, не скажешь — Крым. Скажешь по-волошински — Киммерия. Здесь все — и воздух, и небо, и скалы, и, конечно же, море — свивает неповторимую атмосферу, насыщенную духом его поэзии, обаянием его сложной своеобразной личности. Подкова залива с одной стороны венчается утесом, в котором без труда различаешь профиль поэта. С другой — невысокий пыльный холм с его одинокой могилой. Голова Волошина, высеченная природой ли, судьбой ли в скале Карадага, задумчиво и пытливо вглядывается в море, как бы пытаясь объять мыслью бесконечные пространства темно-изумрудной тяжелой и равнодушной воды. Никакой ваятель не сумел бы точнее выразить суть волошинской природы, беспокойной, пылкой, загадочной.

Самобытный поэт, превосходный переводчик, живописец и критик, исследователь и собиратель раритетов, М. Волошин привлекает нас многогранностью и глубиной своего таланта. Наконец, мы знаем Волошина как основателя Дома поэтов. Он воздвиг его своими руками в своем Коктебеле и здесь, на краю огромной страны, в отдалении от культурных центров собирал под его крышей едва ли не всех, кем в области литературы и искусства могла гордиться тогдашняя Россия.

Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин родился 16 мая 1877 года в Киеве, в интеллигентной дворянской семье. Окончив феоодсийскую гимназию, он поступил на юридический факультет Московского университета, но уже с первого курса был исключен за участие в студенческих беспорядках и выслан обратно в Феодосию, откуда ненадолго уехал за границу. Потом снова — Россия, ссылка в Туркестан. То, что другой воспринял бы лишь как мучительный отрыв от семьи, друзей, культурного общества, для Волошина явилось стимулом к «пробуждению самопознания». Он много странствует по пустыням Средней Азии, знакомится с остатками древних цивилизаций. Именно здесь впервые в активной форме проявилась характернейшая черта его природы: стремление проникнуть в сокровенный смысл окружающего мира, «прорасти сознанием до недр природы», по его собственному выражению. И, однажды овладев им, это стремление к познанию прошлого через природу и природы через прошлое уже никогда не оставит его.

Колыбель античной культуры — Средиземноморье — следующий этап странствий поэта. Греция и Египет исхожены, извезжены им вдоль и поперек. Здесь обретает он «родину духа».

Затем — Париж, где Волошин окунается в ту среду, которую И. Бунин с его академически-бескомпромиссной благопристойностью характеризует как мир мансардных поэтов и художников. Но ведь в мансардах жили и Верлен и Модильяни!

Париж Волошин считает последней ступенью своего творческого возмужания, где к нему пришло «сознание ритма и формы». Здесь он пишет прекрасные стихи, однако не совсем свободные от влияния изощренной интеллектуальной культуры Франции, стихи изысканные по форме, пластичные, наполненные зримыми и осязаемыми образами, но чуть холодноватые, умозрительные. Впрочем холодность Волошина, за которую его так часто упрекали, отнюдь не свойство его природы. Эта холодность — лишь принципиальная творческая позиция, потому что, когда он снимает узду со своего поэтического темперамента, из-под пера его выливаются такие шедевры, которые никак не назовешь холодными или чисто умозрительными, не говоря уже о стихах последнего периода.

Не существует единого мнения о том, какого творческого направления придерживался Волошин, к какой поэтической школе его причислять. Обычно его называют символистом и акмеистом. Действительно, во время частых наездов в Россию из Парижа и потом, после возвращения в 1907 году, он активно сотрудничает в органах символистов «Новый путь», «Весы», «Золотое руно», а позднее, примерно с 1909 года, принимает участие в журнале акмеистов «Аполлон».

Но ни символистом в чистом виде, ни акмеистом Волошин не был. Если уж признать необходимость отнести его к какой-нибудь школе, то правильнее всего будет назвать его русским парнасцем. Творческая позиция его зиждется

94136940  
1933

на неприятин бюргерской цивилизации, предтечи современного «общества потрясения», на духовной близости к таким поэтам, как Малларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль Адан.

Он пишет венки сонетов, «Руанский Собор», цикл сонетов, посвященный великой французской революции, замечательных силой своего проникновения в дух мятежной и героической эпохи.

У Волошина — обостренное чувство историзма, но он не только наблюдатель или свидетель. Самое характерное в нем — ощущение себя в истории, как личности и как художника.

Волошин в пространстве — крупница, во времени — мгновение, но и в той и другой ипостаси отнюдь не мертвая, пассивная частица бесконечного целого, влекомая из неведомого в неведомое и вслепую проскакивающая мост земного существования, а вспышка, помогающая если не проникнуть в таинственные глубины бытия, то хотя бы скользнуть по ним испытующим и зачарованным взглядом.

Волошин живет интенсивной творческой жизнью. Он много переводит из Верхарна, Анри де Ренье, Эредиа, Малларме, часто выступает с критическими статьями по вопросам искусства и литературы, учится живописи у импрессионистов и создает интересные полотна. Одна его книга — «Лики творчества» посвящена французской литературе и театру, другая — Репину, третья — столь близкому ему Верхарну.

С 1913 года Волошин снова в Париже, но связь с Россией не прерывается. В русской прессе печатаются не только его стихи и статьи, но, после начала войны, и корреспонденции.

Возвращается Волошин в Россию перед самой февральской революцией. И на этот раз — навсегда.

В стихах поэта последнего периода появляется ощущение сопричастности к событиям всемирно-исторического значения, потрясшим его родину. От великодушного уединения и поистине волшебной звукописи таких строк:

Костер мой догорал на берегу пустыни,  
Шуршала шелесты струистого стекла,

И горькая душа тоскующей польни  
В истонной мгле качалась и текла

уже виден выход поэта к

... разгулам будней,  
К шумам буйных площадей,

К ярким полям полудней,  
К пестроте живых людей.

Но судьба не судила поэту жизни среди «шума буйных площадей». Последние годы он почти безвыездно проводит в Коктебеле.

К этому периоду относится поэма «Дом Поэта», о котором он имел все основания сказать эти простые и гордые слова:

Мой кров убог и времена суровы,  
Но полки книг возносятся стеной,  
Здесь по ночам беседуют со мной  
Историки, поэты, богословы.

И здесь их голос, властный, как орган,  
Глухую речь и самый тихий шепот  
Не заглушит ни южный ураган,  
Ни рокот волн, ни Понта дикий ропот.

Ниже мы предлагаем читателю неизвестные стихи Максимилиана Волошина, любезно предоставленные нам вдовой поэта.

Леван ХАИНДРАВА

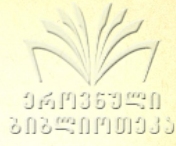
## Максимилиан ВОЛОШИН

\* \* \*

\* \* \*

Отливают волны розовым гляncем,  
Влажные подымая гребни,  
Индевет берег солью и сланцем,  
И алеют щебни.  
И нагоря скрыты сетками линий,  
Переливами перламутра,  
Точно гроздь лиловых бледных глициний,  
Расцветает утро.

Нет у меня ничего,  
Кроме трех золотых листьев и посоха  
Из ясеня,  
Да немного земли на подошвах ног,  
Да немного вечера в моих волосах,  
Да бликов моря в зрачках...  
Потому что я долго шел по дорогам  
Лесным и прибрежным



ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ  
«ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА»

И срезал ветвь ясеня,  
И у спящей осени взял мимоходом  
Три золотых листа...  
Прими их. Они желты и нежны  
И пронизаны  
Алыми жилками,  
В них запах славы и смерти.  
Они трепетали под темным ветром судьбы,  
Подержи их немного в своих нежных  
руках —

Они так легки, и помяни  
Того, кто постучался в твою дверь вечером,  
Того, кто сидел молча,  
Того, кто, уходя, унес  
Свой черный посох,  
И оставил тебе эти золотистые листья  
Цвета смерти и солнца...  
Разожми руку, прикрой за собой дверь,  
И пусть ветер подхватит их  
И унесет...

Осень, 1910

\* \* \*

На пол пала лунная тень от рамы,  
Горько в теплом воздухе пахнут травы,  
Стены низкой комнаты в тусклом свете  
Смутны и белы.  
Я одежды сбросила, я нагая  
Встала с ложа узкого в светлом круге,  
В тишине свершаются этой ночью  
Лунные тайны.

МАЙЕ

Когда февраль чернит бугор  
И талый снег синее в балке,  
У нас в Крыму по склонам гор  
Цветут весенние фиалки.  
Они чудесно проросли  
Меж влажных камней в снежных лапах,  
И смешан с запахом земли  
Стеблей зеленых тонкий запах.  
И ваших писем лепестки  
Так нежны, тонки и легки,  
Так чем-то вещим сердцу жалки,  
Как будто бьется в них, дыша,  
Темно-лиловая душа  
Февральской маленькой фиалки.

Январь, 1913.

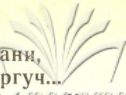
КИММЕРИЙСКАЯ СИВИЛЛА

С вознесенных престолов моих плоскогорий  
Среди мертвых болот и глухих лукоморий  
Вся туманом и мглой и тоской повитая  
Киммерии печальная область.  
Я пасу костяки допотопных чудовищ.  
Здесь базальты хранят ореолы и нимбы  
Отверделых сияний и оттиски слав,  
Шестикрыльях распятых в скалах херувимов  
И драконов, затянутых илом, хребты.

Сентябрь, 1919.

Каждый рождается дважды. Не я ли  
В духе родился на стыке веков?  
В год изначальный двадцатого века  
Начал головокружительный бег.  
Мудрой судьбою закинутый в сердце  
Азии, — я ли не испытал  
В двадцать два года всю гордость изгнания  
В рыжих песках туркестанских пустынь?  
В жизни на этой магической грани  
Каждый впервые себя сознает  
Завоевателем древних империй  
И заклинателем будущих царств.  
Я проходил по тропам Тамерлана,  
Отягощенный добычей веков,  
В жизнь унося миллионы сокровищ  
В памяти, в сердце, в ушах и в глазах.  
Солнце гудело, как шмель упоенный  
Зноем, цветами и запахом трав.  
Век разметал в триумфальных закатах  
Рдяные перья и веера.  
Ширились оплеча жадные крылья  
И от пространств пламенели ступни,  
Были подтянуты чресла и вздуты  
Ветром апостольские паруса.  
Дух мой отчаливал в желтых закатах  
На засмоленной рыбацкой ладье —  
С Павлом — от пристаней Антиохии,  
Из Монсерата — с Лойолою в Рим.  
Алые птицы летели на запад,  
Шли караваны, клубились пески,  
Звали на завоевание мира  
Синие дали и свертки путей.  
Взглядом я мерил с престолов Памира  
Поприща западной тесной земли,  
Где в угаенных портах Средиземья,  
На берегах атлантических рек  
Нагромоздили арийские расы  
Улья осинных разбойничьих гнезд.  
Как я любил этот кактус Европы  
На окоем азийских пустынь —  
Эту кипящую магу народов,  
Под неустойчивой скорлупой.  
Это огромное содроганье  
Жизни, заклепанной в недрах машин;  
Эти высокие камни соборов,  
Этот горячечный бред мостовых,  
Варварский мир современной культуры,  
Сосредоточившей жадность и ум.  
Волю и веру в безвыходном беге  
И напряженности скоростей.  
Я со ступеней тысячелетий,  
С этих высот незапамятных царств  
Видел воочью всю юность Европы,  
Всю непочатую ярь ее сил  
Здесь у истоков Арийского моря,  
Я, преклонившись, оступал рукой  
Наши утробные корни и связи,  
Вросшие в самые недра земли.  
Я ошугил на ладони биенье  
И напряженье артерий и вен —  
Неперекушенную пуповину  
Древней праматери рас и богов.  
Я возвращался, чтоб взять и усвоить,  
Все перечувствовать, все пережить,  
Чтобы связать полноводное устье.





С чистым истоком Азийских высот.  
 С чем мне сравнить ликованье полета  
 Из Самарканда на запад — в Париж?  
 Взгляд Галилея на кольца Сатурна...  
 Знамя Писарро над сонмами вод...  
 Было... все было... так полно... так много...  
 Больше, чем сердце может вместить:  
 И золотые ковчеги религий,  
 И сумасшедшие тромбы идей...  
 Хмель городов, динамит библиотек,  
 Книг и музеев отстоянный яд.  
 Радость ракеты рассыпаться в искры,  
 Воля бетона застыть, как базальт.  
 Все упоение ритма и слова,  
 Весь Апокалипсис туч и зарниц,  
 Пламя горячки и трепет озноба  
 От надвигающихся катастроф.  
 Я был свидетелем сдвигов сознания,  
 Геологических оползней душ  
 И лихорадочной перестройки  
 Космоса в «двадцать вторых степенях»...

Декабрь 1927,  
 Коктебель.

\* \* \*

Ступни горят. В пыли дорог душа...  
 Скажи: где путь к неведомому граду?  
 — Остановись. Войди в мою ограду  
 И отдохни. И слушай не дыша,  
 Как ключ журчит, как шелестят вершины  
 Осокорей, звенят в воде кувшины...  
 Учись внимать молчанию садов,  
 Дыханью трав и запахам цветов.

Январь, 1910.

### ИЗ АНРИ ДЕ РЕНЬЕ

Приляг на отмели. Обеими руками  
 Горсть русого песку, зажженного лучами,  
 Возьми и дай ему меж пальцев тихо течь,  
 А сам закрой глаза и долго слушай речь  
 Журчаших вод морских и ветра трепет  
 пленный,  
 И ты почувствуешь, как тает постепенно  
 Песок в твоих руках, — и вот они пусты.  
 Тогда, не раскрывая глаз, подумай,  
 что и ты —  
 Лишь горсть песку, что жизнь порывы воль  
 мятежных  
 Смешает, как пески на отмелях прибрежных.

\* \* \*

Выйди на кровлю... Склонись на четыре  
 Стороны света, простерши ладонь!  
 Солнце... вода... облака... огонь...  
 Все, что есть прекрасного в мире...  
 Факел косматый в шафранном тумане,  
 Влажной парчою расплесканный луч,

К небу из пены простертые длани,  
 Облачных грамот закатный сургуч...  
 Гаснут во времени, тонут в пространстве,  
 Мысли, деянья, мечты, корабли...  
 Я ж уношу в свое странствие странствий  
 Лучшее из наваждений земли.

Октябрь, 1924.

\* \* \*

Фиалки волн и гиацинты пены  
 Цветут на взморье около камней,  
 Цветами пахнет соль... Один из дней,  
 Когда не жаждет сердце перемены  
 И не торопит замедленный миг,  
 Но пьет так жадно златокудлый лик  
 Янтарных солнц, просвеченных сквозь  
 просинь.  
 Такие дни под старость дарит осень...

Ноябрь, 1926.

### КОКТЕБЕЛЬ

Как в раковине малой — Океана  
 Великое дыхание гудит,  
 Как плоть ее мерцает и горит  
 Отливами и серебром тумана,  
 А выгибы ее повторены  
 В движении и завитке волны, —  
 Так вся душа моя в твоих заливах,  
 О, Киммерии темная страна,  
 Заключена и преобразена.

С тех пор, как отроком у молчаливых  
 Торжественно-пустынных берегов  
 Очнулся я — душа моя разъялась,  
 И мысль росла, лепилась и ваялась  
 По складкам гор, по выгибам холмов.  
 Огонь древних недр и дождевая влага  
 Двойным резцом ваяли облик твой —  
 И сих холмов однообразный строй  
 И напряженный пафос Карадага,  
 Сосредоточенность и теснота  
 Зубчатых скал, а рядом широта  
 Степных равнин и мреющие дали  
 Стиху разбег, а мысли меру дали.  
 Мой мечтой с тех пор напоены  
 Предгорий героические сны  
 И Коктебеля каменная грива;  
 Его полянь хмельна моей тоской,  
 Мой стих поет в строфах его прилива,  
 И на скале, замкнувшей зыбь залива,  
 Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

Июнь, 1918.

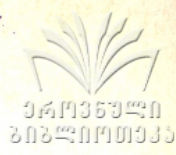
Сдано в производство 25 августа 1972 г. Подписано к печати 5 октября 1972 г.  
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Заказ 2865

Тираж 4000

УЭ 00035

უ. 4/30



Цена 40 коп.

И Н Д Е К С  
76117

*Дорогие читатели!*

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

НА ЖУРНАЛ

*„Литературная  
Грузия“!*

СТАТЬ НАШИМ ПОДПИСЧИКОМ ВЫ  
МОЖЕТЕ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, ОБРА-  
ТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
«СОЮЗПЕЧАТИ».

ПОМНИТЕ, ЧТО В РОЗНИЧНУЮ ПРО-  
ДАЖУ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ» ПО-  
СТУПАЕТ В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕ-  
СТВЕ!

საქ. კვ. ცკ-ის გამომცემლობა  
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ